

**ПРЯМОЕ
ВЫСКАЗЫВАНИЕ**

Александр ЩИПКОВ

ПРЯМОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ

Кто мы, православные, и куда идем

Москва



Торговый дом «Абрис»

2019

УДК 301
ББК 87.6
Щ 86

Фотография на обложке о. Игоря Палкина

Щипков А.В.

Щ 86 Прямое высказывание / А. В. Щипков. — М.: Абрис, 2019. — 221 [3] с. — ISBN 978-5-00111-563-2

В своей новой книге известный политический философ Александр Щипков предлагает читателю серию концептуальных текстов, посвященных наиболее актуальным общественным процессам. В поле зрения автора кризис мировой экономики и политических институтов, грани постмодернистского и постсекулярного сознания, реабилитация нацизма, пересмотр концепции тоталитаризма и роль православия в русской национальной истории. Для книги А. Щипков выбрал форму *методологического интервью*. Текст строится по вопросно-ответной системе. Вопросы составлены автором — они возникают из самого материала как принцип его организации. Книга адресована как интеллектуальному сообществу, так и широкому читательскому кругу.

УДК 301
ББК 87.6

ISBN 978-5-00111-563-2

© Щипков А. В., 2019
© Торговый дом «Абрис»,
художественное оформление,
2019
Все права защищены

Предисловие

Эта книга необычна. Необычна не только на фоне текущей публицистики, но и для творчества самого автора, Александра Щипкова, политического философа и общественного деятеля, известного многим по авторской программе на телеканале «Спас». Своеобычен и жанр этой книги. Говоря о нем, нельзя не вспомнить многолетние споры критиков о так называемых «лонгридах». Есть мнение, будто время крупных публицистических материалов прошло: мол, у читателя нет на все это времени, он предпочитает малые, компактные формы.

Автор «Прямого высказывания» исходит из того, что читатель разный, а интересного, насыщенного идеями текста много не бывает. Для книги, которую читатель держит в руках, выбрана форма *методологического интервью*, знакомая всем по катехизисной литературе. В этом

случае текст, как и в обычном интервью, строится по вопросно-ответной системе. Только вопросы задает не интервьюер из какого-либо издания. Они возникают из самого материала как принцип его организации. Кому-то подобный подход может показаться даже несколько старомодным, но ведь всякое новое — это всего лишь хорошо понятое старое.

Название книги мне тоже нравится. Оно лишено ненужной витиеватости. «Прямое высказывание» означает буквально то, что и означает: книга содержит прямые высказывания автора на самые актуальные социально-политические, религиозные и культурные темы — без оглядки на конъюнктуру и условности, без лишних иносказаний и эвфемизмов. Автор откровенен — редкое качество для пишущего человека в наши дни.

Впрочем, название книги имеет свою историю. Оно отсылает к статье Николая Пиотровского «Прямое высказывание» из философского сборника «По-другому» (М.: Абрис, 2017). Существенное различие заключается в том, что статья Николая Пиотровского была посвящена вопросам культуры, тогда как тематика новой книги Александра Щипкова гораздо шире и нацелена на социально-политическую проблематику. А подзаголовок — «Кто мы, православные, и куда идем» — в полной мере раскрывает замысел и задачи автора, рассуждаю-

щего об историческом пути русской православной нации.

Летом 2018 г. в Москве на встрече с Патриархом Александрийским и всея Африки Феодором Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Мы прожили непростые 1030 лет. Было почти трехвековое иго, были междоусобные войны, социальные и политические потрясения, страшные войны, которые названы мировыми, была революция и даже не одна. Но если сегодня, в XXI веке мы празднуем 1030-летие Крещения Руси, это значит, что действительно Бог присутствует в нашей истории, рука Божия видна здесь. Потому что иначе мы должны бы быть совсем другим народом и другой страной, которая, неизвестно, насчитывала бы столько лет существования или нет».

Православные в публичном пространстве давно не ассоциируются только с «богомольными старушками». Это уже не только религиозное, но и социальное понятие. Православные в России — это люди восточнохристианской культуры, разделяющие ее ценности, а эти ценности, как известно, наряду с церковно-религиозным мировоззрением имеют и светскую форму православной этики.

Вопрос «Куда мы идем?» волнует сегодня всех, но не всем внятны те ценности, цели и интересы, которые определяют дальнейший ход

нашей национальной истории. Слушающие не всегда слышат. Поэтому новая книга Александра Щипкова «Прямое высказывание» в значительной мере посвящена поиску нового языка русской православной традиции в современном мире. Задача трудная, но благодарная.

Юрий Поляков

Большое гражданское общество

*Что такое гражданское общество? Почему в России это застывшее и неприкасаемое понятие, а на Западе оно не имеет единого определения и часто подвергается критике? Всегда ли гражданское общество исключает тоталитаризм, в чем состоит разница между гражданским обществом меньшинства и большинства? Какое отношение имеет к этому различию средний класс и почему он исторически обречен, кто является гарантом равенства свобод в *civil society*?*

— В 2017 году вы ввели понятия «большого» и «малого» гражданского общества. Зачем? Чем вас не устраивает устоявшееся понятие «гражданское общество»?

— Понятие «гражданское общество» (*civil society*) в российском политическом контексте распространилось так широко, что давно уже превратилось в стикер. А между тем единого на-

учного определения этого явления нет. Сегодня общественная жизнь существенно расходится с социологическим описанием общества. В результате язык описания теряет объяснительные возможности, превращаясь в набор застывших понятий и формул. Так было в позднесоветский период. Происходит идиоматизация языка. Это общая проблема. Понятие «гражданское общество» — один из таких окаменевших концептов. В ближайшем будущем он существенно изменит содержание. Подсчет одних только эпитетов, употребляемых вместе с этим понятием, дает очень пеструю лингвистическую картину. Например: «национальное», «транснациональное», «демократическое», «абсолютное», «относительное», «правовое», «социалистическое», «моральное», «реальное» и так далее.

— Да, богатый набор.

— Часть критиков *civil society* называет это понятие «элементом социального самоописания» и идеологемой, а не подлинным научным понятием. Мы продолжаем употреблять это понятие в устаревшем значении — как синоним «активного» привилегированного меньшинства, которое требует от государства сохранить ему привилегии в ущерб интересам остальных граждан. Между тем в социальной реальности неизбежен сдвиг в сторону сплоченного большинства с общим пониманием национальных

задач. Я это называю «большим гражданским обществом».

— Чем может быть вызван этот сдвиг?

— Тем, что социальные меньшинства сегодня стремительно теряют влияние. О причинах этого явления я расскажу ниже.

— Концепций много, а термин один. Много непроясненного и плохо изученного. Каковы уязвимые места существующих концепций гражданского общества?

— Прежде всего: до сих пор не ясно, что является гарантом сохранения *равного уровня свобод* в гражданском обществе — если, конечно, не считать ответом на этот вопрос забавные разговоры о «невидимой руке рынка», самонастраивающейся «системе сдержек и противовесов» и тому подобные сказки. Совершенно очевидно, что гарантом *равного уровня свобод* может быть только государство. Либо легальное (сильное, суверенное), либо анонимное «глубинное государство» (*deep state*), реальная власть в котором принадлежит не официальным структурам, а скрытым. В любом случае без такого субъекта и гаранта не может быть устойчивого гражданского общества, оно просто скатится в «войну всех против всех», говоря словами Томаса Гоббса.

— Каковы исторические корни понятия?

— В какой-то мере оно сложилось как результат частичной десакрализации понятий «государство» и «церковь». Новый институт приобрел собственные святыни — естественное право, священное право собственности, веру в универсальность прогресса. Поэтому понятие «гражданская религия», впервые озвученное Руссо, было не просто метафорой. Гражданская религия — это религия гражданского общества. Но если церковь открыта для каждого, то быть полноправным членом гражданского общества, не будучи собственником, было невозможно. Лишь немногие личности, располагающие имущественной независимостью и образовательным статусом, могли считаться членами *civil society*.

— Что изменилось в XX веке?

— В XX веке появился и невероятно разросся средний класс. Нынешнее гражданское общество состоит из представителей среднего класса и его политического авангарда — «креативной» прослойки. Этому классу и этой прослойке обычно приписывается некая важная социальная миссия, например: «гарант социальной стабильности», «канал обратной связи с государством», «фильтр общественных требований к политической системе». Главная подмена в этом подходе — желание выдать часть общества за все об-

щество, наделить себя правом говорить от лица остальных. Поэтому я назвал это явление «*малым гражданским обществом*».

— Откуда эта подмена?

— С точки зрения этого слоя, который представляет собой социальное меньшинство, его интересы должны быть удовлетворены государством за счет интересов широких слоев. Например, обеспечивать привычный уровень потребления за счет внешних кредитов вместо защиты прав собственного народа или избавляться от реальной индустрии вместе с реальными рабочими местами ради бумажной ассоциации с ЕС, как это случилось в Киеве. А ведь широким слоям нужно совсем другое — сохранение социальных прав. *Социальные права являются единственным капиталом народа*, другого капитала у него нет. Плюс ценности традиции и нравственности, которые способствуют сохранению именно этого капитала.

— Вернемся к среднему классу. Почему он совершил такой «скачок»?

— Не без посторонней помощи. Средний класс вырастили и выкормили специально для роли общественного цербера. Это произошло в 1980-е годы, во времена рэйганомии, когда Запад решил противопоставить советскому гегемону-производителю (пролетариату) своего гегемона-

потребителя. Для этого он перешел к методам «накачки спроса» и потребительскому рефинансированию. Но это решение имело, как выяснилось потом, слишком высокую цену: разросшийся средний класс начал жить не по средствам. Система работала до тех пор, пока финансовая глобализация не достигла своих естественных пределов.

— **А что произошло потом?**

— Сегодня эти пределы достигнуты, о чем свидетельствует мировой кризис. И средний класс, а особенно его партийный авангард — креаклит, — напуган. Мировая экономическая конъюнктура складывается не в его пользу. В результате общего падения эффективности капитала и мирового финансового кризиса нас ждет «великая депрессия» общемирового масштаба. Следовательно, численность и уровень жизни среднего класса резко сократятся — примерно до показателей 1970-х годов. Философ Славой Жижек называет это состояние среднего класса «страхом пролетаризации».

— **Почему элиты решились на демонтаж среднего класса?**

— Представьте себе четырехэтажную финансовую пирамиду: элиты, средний класс, собственные низы и низы чужие, живущие в странах мировой периферии, включая Россию. Именно за

счет последней, четвертой группы элита кормит вторую группу и подкармливает третью. Эта схема работает, пока есть трудовые ресурсы и неосвоенные рынки. Но в один прекрасный момент добывать средства для поддержания системы становится неоткуда — только изнутри самой системы. Значит, нужно ее структурно перестроить и упростить. Наблюдение показывает, что «под нож» этой перестройки пускают именно средний класс. Миддлам и креаклам это категорически не нравится. Они берут плакаты, булыжники, коктейли Молотова и выходят на майданы. Они шантажируют верхи, чтобы те принесли в жертву не их, а простолподинов — «серых ватников». В первый момент, чтобы сбить волну, элиты делают вид, что уступают. Но потом все идет своим чередом. Миддлы и креаклы ропщут. Они берут на щит идеологию, через которую красной нитью проходит социал-расизм, презрение к «быдлу» — словом, к низам, в которые сами они категорически не хотят превращаться.

— **Их лозунг — «Активная часть общества делает свой выбор».**

— Да, высказывание забавное, наигранное и пафосное. С политтехнологического языка на русский оно переводится так: «Мы не они, дайте нам больше». Это незамысловатое желание камуфлируется рассуждениями о важности «гражданских институтов», которые тоже переводятся

на нормальный язык очень просто. А именно: «Общество — это мы». По аналогии с известным «Государство — это я». Но поскольку остальную часть общества невозможно просто взять и стереть ластиком, то приходится прибавлять термин «гражданское». То есть они изначально проводят разделительную линию и искусственно создают оппозицию «гражданское общество» — «остальное общество».

— Но ведь, скажем, на митингах оппозиции стоят люди разных социальных положений.

— Меня интересует не одежда, а то, в пользу чьих лозунгов и требований стоят митингующие. Обратите внимание — либеральная оппозиция никогда не требует отставки правительства, смены социально-экономического курса, социальных гарантий и т. п. Речь всегда идет только об одном — о делегитимизации государства как такового, самой системы управления. Это и есть истинная позиция адептов малого гражданского общества.

— Эта позиция в состоянии что-то изменить?

— По большому счету уже не в состоянии. Логика развития существующей системы неумолима. Они могут притормозить процесс ценой большой крови, используя в качестве инструмен-

тов экономический ультралиберализм и нацизм, но не остановить его.

— Однако истерические нотки у них в голосе слышны все отчетливей.

— Это неудивительно, ведь элита лишает их статуса привилегированной прислуги. Их решено расчитать. Они оскорблены в лучших чувствах и требуют: «Не нас, не нас — их!» Требуют выжимать последнее, до капли, лишь бы еще немного пожить на глобалистскую ренту. Но элиты уже пребывают в историческом цейтноте. Часики тикают. Поэтому даже в среднесрочной перспективе этот класс обречен. Отсюда и страх, и обида. Отсюда их фашизоидность, склонность к ультраправому дискурсу.

— Это политические перегибы?

— В российской либеральной трактовке «гражданское общество» — это универсальная идеологическая дубинка. Точнее, идеологема, которая оправдывает методы, противоречащие ее внутреннему содержанию, — командно-административные, силовые, репрессивные. Научим свободе штыками...

— Обычно утверждается, что гражданское общество и тоталитарность — две вещи несовместные.

— Это один из устойчивых стереотипов, который опровергается практикой. Малое гражданское общество имеет отчетливую тенденцию к тоталитарности. Сегодня тоталитарность связана в том числе и с привычной «антитоталитарной» риторикой, на которой построен новый идеологический формат.

— Это тоталитарность с обратным знаком?

— Да. Тоталитаризм с антитоталитарной риторикой на устах — один из причудливых феноменов нашей эпохи. Это очень печальный тренд. Но, в конце концов, такова парадоксальная диалектика истории. В одну реку можно войти дважды, если она начнет течь в противоположную сторону. Именно в такое время мы и живем.

— Благодаря этому малое гражданское общество идеологически доминирует?

— Не столько идеологически, сколько культурно. Одним из источников производства символического капитала является сформированный у большей части общества комплекс неполноценности — уверенность в том, что мы политически бесплодны, а русская нация то ли вообще не сформировалась, то ли не доросла до политического «совершеннолетия». А если это так, активному меньшинству оста-

ется только забрать понятие «гражданское общество» себе, присвоить его. Ведь хозяина у понятия нет. Получается, что понятие — ничье. Задумайтесь, с какой целью происходит категорическое и даже какое-то истерическое шельмование «Бессмертного полка», тиражирование оскорбительных статей про «победобесие»? Гибель миллионов, геноцид, национальное выживание — слишком серьезные составляющие русской истории. Именно в эту точку и наносится удар. «Бессмертный полк» — это пример национальной самоорганизации и стопроцентный институт подлинного гражданского общества. Именно поэтому его легитимность стремятся любыми способами поставить под сомнение. Все ради конченной цели — перехватить желанный статус.

— Как, при каких условиях складывается гражданское общество большинства?

— Большое гражданское общество складывается в ходе национальной самоорганизации. Особенно часто это проявляется в кризисных, нестандартных ситуациях: вспомним ополчение Минина и Пожарского, выкликание Михаила Романова на царство, Крымский референдум, «Бессмертный полк». Все это ситуации ускоренной самомобилизации гражданского общества. В них-то и проявляется подлинная институциональность, вырастающая из традиции, а не навя-

занная привилегированными властными группами. Это и есть те самые «институты» гражданского общества.

— Это формы самоорганизации людей?

— Да.

— Государство их подавляет?

— Подавлять их может любой властный субъект в своих интересах, включая и государство, но защищать способно только государство. Потому что остальные властные субъекты вообще не обязаны это делать.

— В России сформировалось гражданское общество?

— Конечно. Немалый период русской истории оно подавлялось. Подавляется и сейчас. Наше большое гражданское общество не похоже на западное, оно не связано с либерализацией самодержавия или с секуляризацией. У него другие основания. Русская секулярная реформация, как и русское просвещение не были движением снизу, как в Германии или Франции. Это были проекты, навязанные нам сверху — элитами. Частично «реформация» удалась, поскольку, ликвидировав патриаршую структуру, сформировала казенную церковь и

разрушила теократическое гражданское общество, которое складывалось вокруг Церкви. На низовом уровне, куда не дошли усилия реформаторствующих верхов, сохранялся исходный, коммунитарный тип социальности (общинный), он-то и был «внеполитическим» (о чем говорили еще славянофилы). Таким образом, в России развитие подлинного гражданского общества было и остается связанным не с модернизацией, а именно с традицией.

— Вы часто говорите и пишете о социал-традиции. Что такое гражданское общество с этой точки зрения?

— С точки зрения социал-традиционализма, гражданское общество — это солидарное общество, в котором, используя тезис А. де Токвиля, «важны не процедуры, а цель». Эта цель — принцип взаимной ответственности, взаимопомощи (на церковном языке — соборная сотерия, помощь в деле спасения души). Данный принцип спасает общество от возвращения в «естественное» состояние нового варварства. Социал-традиционалистский подход противоречит концепции естественных прав и попперовской идее «открытого» общества, которая на деле приводит к власти закрытые корпоративные структуры. Идеи социал-традиционализма заставляют задуматься о роли фактора большинства в гражданском обществе.

— Какова же эта роль?

— Разумеется, решающая. Единственный критерий реальной демократии — это принцип большинства.

— Какова первая задача большого гражданского общества?

— Задача большого гражданского общества — уйти от социальной эзотерики элитаризма, дать шанс большинству выбирать общее будущее. Демократия — это власть народа, охраняемая государством, а не власть одних социальных групп над другими при попустительстве государства. Вот в чем кардинальное отличие большого гражданского общества от малого. Малое гражданское общество — это форма диктатуры, форма тоталитаризма. Общество нельзя считать «политическим», если большая часть его членов просто выброшена за рамки политического процесса и не участвует в принятии решений. Это напоминает мне античную «демократию», которая не распространялась на рабов.

— Гражданское общество предполагает свободу каждого?

— Гражданское общество — не общество неограниченной свободы. Это общество, в котором *все свободны в равной степени*. Свобода одних

за счет других — это не свобода, а диктатура. А значит, свобода отдельно взятого индивидуума неизбежно предполагает ответственность и самоограничение.

— Кто это может обеспечить?

— Только сильное государство с Божьей помощью. Имущественное равенство недостижимо, хотя социальное расслоение должно быть ограничено разумными пределами. А вот равенство прав и свобод может и должно быть обеспечено. Или мы ставим вопрос именно таким образом, или нам надо прекращать болтать о демократии и честно признать, что нас устраивает та или иная форма диктатуры. Третьего пути нет.

— Итак, малое гражданское общество сходит с исторической сцены?

— Как и его социальный контингент. Таким образом, удельный вес креативного класса в обществе резко сокращается количественно и качественно, причем по объективным причинам. При этом само по себе гражданское общество сохранится, но примет более аутентичный вид, и составлять его будут представители других социальных групп. Так получится «большое гражданское общество». Гражданское общество большинства. Социологам уже сегодня предстоит объяснить обывателю и власти смысл происходящих пере-

мен и дать определение нового гражданского общества. И первое, что придется сделать, — это признать факт подмены, попытку выдать малое за большое. А затем честно сказать, что в России менталитет социального большинства связан с понятием социальной справедливости, с пониманием гуманизма как милосердия и нравственности. Чем раньше мы выйдем за рамки выработавших свой ресурс стереотипов, тем быстрее мы сможем взять в свои руки ответственность за свое будущее. И новому большому гражданскому обществу предстоит сыграть в этом решающую роль.

Ложь «догоняющего развития»

Кто виноват в вековом «отставании» России от Запада? Во всем ли мы отстаем, и только ли Россия отстает? Можно ли догнать мировые центры капитала, оставаясь на «периферии» экономико-политического пространства? Как понимать «прогресс»?

— Проблема отставания России от Запада все время вызывает пристальный, а то и нездоровый интерес. Он оправдан? Ведь нельзя отрицать, что до начала XVIII века наука и искусство в России отставали от западноевропейских.

— Промышленный переворот XVIII—XIX веков вообще вначале утвердил безусловное британское лидерство. Но смотрим дальше. С одной стороны — Лавуазье, Уатт, Эдисон, Парсонс, Сименс, Маркони, Даймлер, Бенц, Дизель. С другой — Ломоносов, Циолковский, Менделеев, Лодыгин, Яблочков, Попов. Так ли у нас все было плохо с наукой? Другое дело — реализация

изобретений, но это уже вопрос социально-политический, а значит, связанный с геоэкономикой. И вот геоэкономика сталкивала Россию на аграрный путь. Здесь отставание действительно было. Но зададимся вопросом: а что такое прогресс, стоит ли говорить о нем обобщенно?

— В каком смысле?

— Можно ли говорить о Прогрессе, имея в виду не технические открытия, а именно «Прогресс вообще», «Прогресс человечества», Прогресс с большой буквы. Когда пели гимны веку Прогресса, обычно не уточняли, что именно и куда развивается. По аналогии с техникой мыслили развитие культуры и общества — так возник миф прогрессорства. К чему это привело? XX век — это самые бесчеловечные войны в истории, самая бесчеловечная идеология (нацизм), больше всего заключенных в концлагерях всего мира, самое страшное оружие, мировой терроризм, разрушение семьи, гимн греху и потреблению, виртуальная экономика, жизнь в информационных «пузырях». А где же «Прогресс всего»? Модель монетаристского общества терпит фиаско. Некритичное отношение к идее прогресса привело к ее мифологизации. Антураж научности и прогрессивности заслонил собственно прогресс. Много инноваций, но прорывные открытия в области фундаментальной науки давно не происходят. Мы до сих пор

живем за счет открытий 1970-х годов. Научно-критическое сознание утрачивается вслед за религиозным. «Цифровая экономика» имеет мало общего с наукой и классической рациональностью. «Нажми на кнопку — получишь результат» — это и обезьяна может, если дать ей вместо палки кнопку.

— В чем причина?

— Причина — это разрыв. Расщепление культурного универсума на рациональное, символическое и сакральное. Рационализм в свою очередь стал расслаиваться внутри себя, порождая собственную онтологию, мифологию, квазирелигию. Я думаю, научно-критическое мышление будет возрождаться в союзе с традиционными ценностями, а не в «пику» им, как в XVIII веке. Нас ждет возрождение христианского универсализма и классической рациональности. Я называю это *аксиомодерном* (сочетание понятий «ценность» и «современный»).

— Какова была ситуация с русским искусством? Оно отставало от западного?

— Некорректно говорить, что русское искусство отставало от западного. А древнерусская литература, а русское барокко? Русское барокко более радостное, светлое, оптимистичное, более декоративное, чем западное, и менее мно-

гозначное. О взлете и расцвете, который начался с Пушкина, я даже не говорю, это очевидно. В России не было Ренессанса, и за Средневековьем сразу шли классицизм и Просвещение, что и сформировало особую эстетику. Русская и западноевропейская эстетические системы не сопоставимы друг с другом. Здесь нет и не может быть отставания. Говорят, что в России «не было литературы». Это старая тема, обсуждаемая, кажется, со времен Карамзина, но это не так. Литература русского барокко часто была посвящена государственным темам и воспитательным задачам — вспомним хотя бы Симеона Полоцкого с его «Вертоградом многоцветным», с загадками и «максимами». Например: «Человек некий винопийца бяше / Меры в питии хранити не знаше / Тем же многажды повнегда упийся / В очию его всяка вещь двоися / Во единое время прииде до дому, / И вся сугуба зрешася оному». Конечно, в литературе того времени была сильна назидательность — это влияние духовной словесности. Но Сильвестр Медведев, Карион Истомин, Феофан Прокопович, Кантемир, Сумароков, Карамзин, Ломоносов — разве не писатели? И как бы в условиях отставания мог возникнуть фундамент «золотого века», как могли в конечном счете появиться Пушкин, Гоголь, Достоевский, Лесков, Бунин? В искусстве все уникально и все — развитие. Искусство не бывает отсталым, хотя упадок в нем возможен — мы это наблюдаем сегодня.

— **Правомерно ли оценивать развитие искусства так же, как развитие гражданских и политических институтов?**

— Нет, конечно. Это именно то, чем страдали теоретики соцреализма. У искусства внутренние источники развития, хотя и социальные факторы играют роль.

— **Но общественная система в России ведь явно отставала от западной?**

— Снова не соглашусь. Наряду с монархией были Земские соборы, общины, были Уложения — чего именно не хватает? Давайте вспомним, как выбирали Михаила Романова после Смуты. Его выкликали всенародно. По сути это была форма плебисцита своего времени.

Существует устойчивый миф о новгородской «демократии» как якобы более западной и более прогрессивной политической модели, чем «московская деспотия». На самом деле это просто модель компрадорского меньшинства, которое насильно тащило горожан от Москвы в сторону Литвы, ориентируясь на князя Казимира IV. Но «литовская партия» состояла всего из трех-четырёх сотен самых богатых людей. Их потом историки назвали «партией белого хлеба», это, говоря по-нынешнему — поклонники пармезана. А большая часть новгородцев ела дешевый черный хлеб. И у них было отнято право голоса.

Чтобы достичь нужного решения, партия белого хлеба скупала голоса, запугивала несогласных, творила погромы, топила неудобных в реке. В общем, устраивала майдан. И вела подробную переписку с князем Казимиром, консультировалась с ним. Это демократия? Нет, это олигархия.

Иван III пришел за тем, чтобы защитить народ и православную веру от этой шайки. Он установил подлинную демократию, то есть приоритет интересов большинства. И это было куда прогрессивнее, чем диктатура олигархов-компраторов. По-моему, вся эта новгородская история очень напоминает ситуацию в Крыму накануне его освобождения.

— От чего зависит развитие тех или иных социальных и политических моделей?

— Это развитие следует либо за традицией, либо за экономикой и соответствует месту страны в мировом разделении труда, степени ее суверенитета. Например, крепостное право в России поддерживалось ролью страны как поставщика зерна на мировой рынок. И вот здесь, в сфере организации экономики, действительно имело место серьезное отставание.

— Но что было причиной отставания?

— Избыток влияния западных институтов. Не недостаток, а именно избыток. Излишняя ко-

операция с Западом как раз тормозила развитие, в том числе и отмену крепостного права.

— Именно поэтому политически и экономически Россия всегда отставала в развитии от стран Запада?

— Зависимость всегда ведет к отставанию, а не наоборот. Это аксиома. Но отставала не только Россия. Отставали все периферийные и полупериферийные страны. Это результат диктата транснационального капитала в глобальной экономике, который существовал уже тогда, в XVII—XVIII—XIX веках. И чем выше вовлеченность страны в сферу глобального рынка, тем больше отставание. Контроль за направлением финансовых потоков со стороны стран «центра» позволяет им развиваться, а страны периферии вынуждены их спонсировать. По этой причине «вторичная модернизация», то есть попытка догнать основных экономических игроков обречена на провал независимо от предпринимаемых усилий. Выход — в создании собственной, альтернативной экономической зоны. Китаю это сегодня удается.

— Значит, даже переняв западную систему общества и государства, Россия не сможет это отставание ликвидировать?

— Конечно, не сможет. Так она его только еще больше увеличит. Наглядный пример —

современная Украина. Страна должна заимствовать и переосмысливать технологии, но не социальные институты и не культурные особенности. Только приспособив технологии к своим традиционным институтам, она и становится конкурентоспособной, поскольку создает «оригиналы», а не плохие «копии». По нашей оборонке это хорошо видно. А когда-то это происходило и в науке.

— По-вашему выходит, что в либеральной публицистике тема отставания перевернута с ног на голову?

— Именно так. Тема «отставания» — одна из самых мифологизированных. В радикальном варианте она включает в себя дилемму «западничества и славянофильства», а в ультрарадикальном превращается в идеологию Смердякова из романа Достоевского. Смердяков, как мы помним, говорил: «Умная нация должна завоевать глупую». То есть мы должны дать добровольное согласие на колонизацию. При этом свои достоинства — то, что нельзя перенять, а можно только создать самим — отбрасываются. Например, православие начинает «мешать» историческому развитию, как полагает Владимир Познер.

— Нет ли в понимании отставания западниками некоего религиозного оттенка?

— Есть, и очень ощутимый. Ведь для них западные институты — предмет культа, как для туземцев поделки из Европы. Идея догоняющего развития построена на культе этих институтов — чудесных атрибутов земного рая. При этом упускается из виду, что институты — если только они не фиктивны — вырастают из традиции, а традиция-то национальна.

— Где начинается зона сакрального в восприятии этой проблемы?

— Начинается она с отсутствия рациональных объяснений. Вместо них господствует абсолютно магическое отношение к этим самым институтам. Западники считают, что эти институты упали на Европу, как манна небесная, и могут быть воспроизведены где угодно по неким лекалам. Хотя это то же самое, что за сутки родить ребенка, вырастить дерево или изменить черты лица. Не находя желаемого, эта публика злится и заводит песню о нашей якобы неполноценности, цивилизационной, а то и биологической.

— При этом традиционную религию они недолюбливают.

— Это и понятно, ведь традиционный культ мешает культу новому, модернистскому. Точно так же, как он мешал большевистскому культу коммунизма.

Отсюда наряду с русофобией возникает ортофобия, антиправославность западников. В общем-то эта модель у нас воспроизводится со времен Петра Чаадаева, который считал, что все беды России от неправильного выбора религии. Вот склонили бы мы колена перед Святым Престолом — глядишь, и с культурой, и с экономикой было бы получше. Правда, век католичества в его классическом виде оказался недолг — и вот сейчас приходится привлекать для идеи «догоняющего развития» куда более экзотические культы. Скажем, неогностицизм и техноязычество. А поскольку естественным образом этот тип религиозности в России не приживается, его адепты грезят о майдане и оккупации нашей страны натовскими армиями.

— Как разрушить мифорелигиозный ореол этой темы?

— Долгими усилиями историков, экономистов, социологов, публицистов. А пока я могу предложить вам пять демифологизирующих тезисов на тему «Отставание России».

1. Отставание — особенность не России, а всех периферийных стран.

2. Отставание предопределено не позицией периферийных стран, а позицией Запада.

3. В случае некритичного заимствования социально-экономических моделей (сценарий «до-

гоняющего развития») отставание не уменьшается, а увеличивается.

4. Техническое отставание вовсе не означает отставания в социальной и культурной сферах.

5. «Догоняющее развитие» ведет к деградации социальных, политических и культурных институтов.

— Существует легенда о Петре Первом как о мудром преобразователе, прорубившем окно в Европу. Это тоже миф?

— Прежде всего этот путь означал смену государственного культа — от идеи «Москва — Третий Рим» к идее «Запад — страна святых чудес» (ироническое определение Аксакова). То есть смену византийской преемственности на западническое подражание. И в этом смысле он, конечно, был ошибочным, поскольку вел к разрыву традиции, потому что византийская и вообще христианская традиция аккумулирует и собирает, а западная модернистская означает экспансию, подчинение, колонизацию. Запад разрушил и свою традицию, и чужие. Исторический разрыв вел к гражданскому расколу между правящим слоем и народом, а в итоге к революции. Стратегически это было ошибкой, что не отменяет ряда отдельных достижений петровского времени — например, преобразования армии и флота.

Основанная на крепостном труде петровская промышленность обусловила отставание России в XVIII—XIX веках. Кстати, до знаменитой поездки в Европу со своим «Великим Посольством» Петр предполагал расширение России в сторону Черного и Средиземного морей, контроль над проливами и Константинополем. А по возвращении его стало интересоваться в первую очередь Балтийское направление. Это был геополитический просчет. Россия — наследница Византии — должна была быть черноморской державой.

— Каковы же основные причины отставания?

Причины отставания в разные эпохи разные: зависимость от экспорта хлеба в XIX веке, зависимость от экспорта нефти и газа в XX веке, идеологическая, культурная и институциональная вторичность, отказ от собственной национальной научной школы (Болонская система), от национальных принципов образования (ЕГЭ), от нормальной связи между поколениями (ювенальная юстиция).

— Как связаны проблема отставания и внешняя политика?

— Гонка преследования — это процесс, исход которого зависит от обеих сторон. И поскольку конкуренцию в мире никто не отменял, наше же-

ление догнать отнюдь не совпадает с желанием наших партнеров. Зачем им новые конкуренты? Поэтому они отнюдь не против того, чтобы мы шли путем слепого, буквалистского подражания — но, наверное, этот не тот путь, который позволит нам кого-то догнать. Потому что при разных исходных условиях нужны и разные принципы движения, чтобы оказаться примерно в той же точке. Автомобиль не догонит катер, если поедет по воде, но легко обойдет его по суше. Это так называемые «ножницы развития». Принцип ножниц важен и в технологической, и в идеологической сферах.

— А как это связано с идеологией?

— Конкурентам есть смысл пустить нас по ложному пути. То есть идеологически вменить нам неэффективный сценарий. Например, строго подражательный: сделайте в точности, как у нас, один в один. Или наоборот: убедить нас в том, что чего-то ни в коем случае делать нельзя. Например, свободную эмиссию национальной валюты, вложения в науку и образование. Так британцы в XIX веке убеждали наших дипломатов в том, что России непременно надо оставаться аграрной страной — мол, так вам Богом предначертано, таково ваше призвание. Мотивация была проста. С одной стороны, устранить возможного конкурента в промышленно-технической сфере. С другой — обеспечить продолжение

бесперебойной продажи зерна в Европу, освобождая европейцев от этой головной боли и закрепляя за Россией роль хлебного поставщика. Точно так же и сегодня за нами пытаются закрепить роль мировой бензоколонки, идеологически запрещая поддержку внутреннего рынка и реального сектора экономики. В итоге продолжается вывоз капитала из страны, а экономика все время недофинансирована. В научной литературе это называется «мировым разделением труда». Невыгодная роль в ходе этого разделения отбрасывает Россию назад, тормозит развитие, закрепляет ее периферийный статус.

— **И отсюда идея «догонять через подражание»?**

— Да. Компрадорский класс России всегда помогал Западу под предлогом европеизации тормозить наше развитие. В частности, этому способствовал культ Запада. Причем из этого абстрактного культа делались прямые социально-политические выводы. Например, в Восточной Европе после распада советской системы не было ваучерной приватизации, вместо этого проводилась реституция. Таких примеров много. Многие реформы по западному образцу были абсолютно антиинституциональны для России. И потому деструктивны. Все эти нестыковки оставили печать на сознании российского правящего класса.

— **Как именно?**

— Русские пытались с Западной Европой договориться «по-хорошему», каким-то образом в нее «вступить», словно мы сами по себе не европейцы и не имеем за спиной христианской традиции. Нужна была еще какая-то сакральная санкция. В итоге глубинные культурно-исторические основания нашей общественной жизни подменялись попытками соответствовать сиюминутным политическим проектам и идеологиям. В том числе европейскому христианоборчеству, позитивизму, социал-дарвинизму, трансгуманизму. Это дезориентировало общество, лишало его собственного незаменимого опыта, выстраданного столетиями, обнуляло этот опыт.

— **А что же сами европейцы?**

— А из Европы к нам приходили только с войной. И не один раз. И хотя только по вине гитлеровской коалиции (а это, напомним, несколько европейских стран) мы потеряли несколько десятков миллионов человек, мы все никак не можем избавиться от иллюзий. В результате возникают такие уродливые явления, как «плач» по солдатам вермахта, которые якобы «не хотели воевать», как утверждал один уренгойский школьник в бундестаге. Или попытка повесить в Санкт-Петербурге мемориальную доску Маннергейму, бомбившему Ленинград и учреждавшему в

Карелии концлагеря для советских граждан. У нас все еще очень короткая историческая память. Но, думаю, это поправимо.

— **Как оценить советский период в контексте темы отставания?**

— В этом смысле 1917-й год парадоксален. Он означал декларацию отказа от периферийной модели развития, противопоставление себя Западу как нового глобального и идеологического центра. Но вместе с тем эта цель достигалась ценой утраты своих культурных, исторических, символических и иных ресурсов. Это была системная ошибка. Весь советский период ушел на ее преодоление.

— **Как выглядит спор западников и славянофилов сегодня?**

— Это всегда был надуманный спор, а сегодня особенно. Обратите внимание — на самом деле ни в Европе, ни в Америке никогда не было «западников». Но если их не было у них, то зачем, спрашивается, они нам? Если их нигде не было, значит, это лишнее колесо в телеге.

Будущее секуляризма

О современном секуляризме и кризисе его идеологических оснований. О новой — постсекулярной — ситуации, для которой характерно стирание грани между категориями религиозного и секулярного. Секуляризм приобретает признаки имплицитной религиозности, а взятая им на себя историческая миссия рационализации культуры и общественной жизни оказывается невыполнимой. Когнитивный статус верующих и неверующих один и тот же, их положение в обществе также должно быть симметричным и равноправным.

— **Сегодня часто приходится слышать о том, что в секуляристском обществе верующие подвергаются дискриминации, что растет христианофобия. Исторический спор религии и секуляризма бесконечен, или он может иметь некий итог?**

— Если бы не кризис секуляризма, этот спор был бы бесконечным. В теоретическом, фило-

софском смысле он действительно неразрешим. Но важно понимать, что по существу это спор двух религий.

— **Исследователи могут внести в этот спор что-то новое, освежить его?**

— Есть отчетливая тенденция к переосмыслению понятий и категорий в религиозных и культурологических подходах. В частности, в рамках такого направления, как постсекулярные исследования. Само понятие «постсекулярность» указывает на то, что в культуре возникает новое понимание секулярного и религиозного и соотношения между ними. Большой интерес представляют работы П. Бергера, Дж. Милбанка, Ю. Хабермаса, Дж. Макленана, а также многие разработки ученых Оксфордского центра исследований имплицитной религии. Важным объектом для исследования становятся процессы психологизации религиозного, викарная религиозность.

— **Что получается в итоге?**

— Постепенно происходит коррекция самой постановки проблемы секулярно-религиозного. За термином «постсекулярность» появляются новые — «неорелигиозность», «неорелигиозация», все больший интерес вызывает вопрос о границах религиозного и секулярного, исследуется фе-

номен имплицитной религии («implicit religion», термин Э. Бейли), идет постоянный поиск религиозного в секулярном, поиск «имплицитной религиозности». Это очень важно. Ведь когда человек видит подлинные истоки своих повседневных воззрений, он лучше понимает себя. Следующий этап этого движения мысли, я думаю, приведет к пересмотру теоретических оснований категорий секулярного и религиозного. В среднесрочной перспективе нас ждет именно это.

— **В чем различие между секулярностью и секуляризмом?**

— Она существенна. «Секулярность» — это просто нечто далекое от исторических религий, это мировосприятие, верящее в свою рациональность, объективность, естественность. «Секуляризм» — уже идеология, навязывание определенных стандартов мысли и ценностей, таких как материализм, меркантилизм, объяснение вещей «из них самих», тотальная конкуренция, политкорректность. Навязывание этих стандартов как якобы самоочевидных и единственно приличных.

— **Что это значит?**

— Все эти понятия априори выводятся за рамки дискуссий и не предполагают рефлексии, аргументации связанных с ними концептуальных

схем. Тем самым они утверждаются в качестве символа веры, катехизиса.

— Вы упомянули о кризисе секуляризма. В чем он проявляется?

— Если коротко — в том, что секуляристское мировоззрение уже не может сохранять верность своим собственным постулатам. Например, общество потребления явно утрачивает привычку и вкус к научно-критическому восприятию мира, зато его интересуют возможности виртуальной, дополненной и смешанной реальности. Яркий пример — общественный культ трагедии, случившейся с погибшими сотрудниками «Шарли Эбдо». Главный редактор журнала «Шарли Эбдо» — Жерар Беар — говорил так: «Миллионы анонимов, все организации, главы государств и правительств, политики, интеллектуалы, публицисты, все священнослужители, которые выступили с декларацией „Je suis Charlie“, — им всем не мешает знать, что это означает: „Я — за секуляризм“ („Je suis pour la laïcité“). Мы убеждены, что для большинства наших сторонников это не вызывает сомнений. Все же прочие пусть убираются ко всем чертям». Разве это не религиозный культ?

— Похоже на то.

— Ритуальная формула «Je suis Charlie» — неотъемлемая часть культа. Глобальная община

«шарли» — сообщество свободно самовыражающихся по поводу чьих-то святынь, и это самовыражение, безусловно, свято для них. Таким образом понятый секуляризм требует жертв и мученичества от своих адептов. История «Шарли» — это типичный мученический путь, мученическое житие. Секулярному обществу нужны свои святыне, чтобы скрепить шатающееся идеологическое здание кровью и слезами. Не важно, что погибли люди — это сакральные жертвы, приносимые на алтарь свободы.

— Свободы совести и свободы мысли...

— Ну да. Только это не случай Галилея, не воля к истине или национальной независимости. Это право девальвировать, обесценивать с помощью карикатур вероучительную ценность чьей-то Священной истории или даже чувств родственников погибших. Это сакральный смех. И этот смех тотален.

— Свобода ниспровержения святынь сама стала святыней?

— Да, конечно.

— Это не просто некий метод социального действия?

— И то, и другое. Здесь нет противоречия. Обратите внимание: свобода сакрального смеха

не включает в себя самоотрицание, не доводится до логического конца. «Шарли Эбдо» не смеются над свободой, над теми, кто сочувствует им и вешает на себя табличку «Шарли». Это квазирелигиозный культ.

— Вы не раз говорили о либерал-православии в церковной среде, о феномене «церкви» в Церкви или, так сказать, о «церкви избранных». Каково отношение к секуляризму в этой среде?

— Это совершенно особый случай — случай секулярной религиозности. Здесь секуляризм стилизован под историческую религию, под традицию. Эти люди хорошо понимают особенности постмодернистского общества и умеют работать с ними. Их цель — создать псевдорелигиозный симулякр. То есть «освятить» секуляристскую повестку дня и секуляристские ценности религиозным авторитетом, религиозной символикой и стилистикой. Иными словами, это секуляризм в «христианской» упаковке. Данная группа стремится убедить нас в необходимости секулярной реформации Церкви, о чем я писал еще несколько лет назад. Но я надеюсь, что агрессивный модернизм Константинопольского патриархата преподал нашей пастве хороший урок и она будет обходить за версту воинствующих секуляристов с их идеями и прожектами.

— Эти идеи всегда высказываются, открыто, «в лоб»?

— Нет, далеко не всегда. Все делается по правилам хорошей школы маркетинга: для разных целевых групп разные концепции, стили и слоганы. Кому-то ближе лозунг «реформации», кому-то «либерализации».

— Вы сказали, что понимание секуляризма постепенно меняется. Приходит понимание того, что секуляризм не исключает религиозности?

— Я бы сказал так: зона сакрального в секулярной культуре расширяется, происходит вторичная религиозизация привычных и повседневных явлений. Поэтому мы наблюдаем новый исторический феномен — неорелигиозность. Это признак глубокого кризиса секуляристской культуры, которая запрещает всерьез обсуждать свою иррациональность и теологичность. Но сейчас она обнажает свои корни, от которых всегда стремилась отречься.

— Каковы эти корни?

— С одной стороны — перевернутая, искаженная библейская картина мира. С другой стороны — языческие мировоззренческие установки. Например, требование преодолеть состояние

«традиционного общества» ради модернизации — это вариация на тему преодоления «ветхозаветности» в христианстве. Колонизация мира была пародией на его катехизацию, и, я думаю, рано или поздно философам и идеологам модернизма придется держать ответ за это. Коммунизм, большевистский коллективизм были советской трактовкой идеи общины, интернационал и компартия — пародией на церковность.

— Ну, а язычество?

— Это социал-дарвинизм, мальтузианская мораль либерализма. Ради «богов целесообразности» можно и даже нужно кого-то приносить в жертву, отправлять на заклание. Например, разного рода маргиналов, неуспешных, социально незащищенных и тех, кого в США называют деплорантами, тоталитарными личностями и даже тоталитарными обществами.

— Все эти тенденции не способствуют возвращению христианству его позиций в обществе?

— Увы, нет. Исторические религии ослаблены, с ними ведется война. Церковь стремится лишить внутренней основы — переписать канон, подчинить секулярной политической и культурной программе, чтобы Церковь одобрила все это — ювенальную юстицию, трансгуманизм,

социальное бесправие граждан. Историческая религиозность по-прежнему подавляется. Но религиозность вообще, религиозность как свойство сознания — это совсем другое дело. Просто мы по инерции считаем «религиозным» только сложившийся в Средневековье вероучительный стандарт. Может, это было бы и хорошо, только это, к сожалению, не так.

— Разве секулярное общество в эпоху либерализма не предполагает отсутствия обязательной идеологии?

— Это всего лишь декларация. На самом деле есть набор ценностей, который жестко вменяется «секулярному» гражданину. Он навязывается вместе с моделями культурного и потребительского поведения, вместе с общепринятыми формами коммуникации — в качестве якобы оптимального поведения или, скажем, неотъемлемого «естественного права». Только эта идеология более примитивна, а квазирелигиозный элемент сильнее бросается в глаза, чем это было в XX веке.

— Как это работает?

— Понимаете, когда вам, например, замораживают счет в банке из-за каких-то беспочвенных подозрений — вам это не спешат аргументировать. Или когда делают плату за жилье не-

подъемной, а зарплату символической, просто говорят: сие неизбежно, других вариантов нет. Когда навязывают вам кредит, натравливают коллекторов или ювенальных технологов, тоже считается, что «вариантов нет». Это все не аргументируется так, как было принято при старых тоталитарных режимах — с талмудами классиков общественной мысли. Просто утверждается: вот это эффективно и оптимизировано, современно и цивилизовано, а вот то — наоборот. Хотя мы постоянно видим, что дело обстоит, мягко говоря, несколько иначе. Порой данная позиция подкрепляется какими-то цифрами и статистикой, которую невозможно ни проверить, ни опровергнуть.

— **О чем это говорит?**

— О том, что в основе всякой социальной легитимации и социальной лояльности сегодня лежит в первую очередь акт веры. В современных секуляристских идеологиях религиозного явно больше, чем в идеологиях XX века, хотя и там оно присутствовало. Это указывает на ситуацию постсекулярности и процессы неорелигиозации в современной культуре. Правда, религиозации совсем не христианской в своей основе. В каком-то смысле это современный ремейк хорошо известных жреческих практик, в том числе нумерологии (когда речь идет о «цифровом обществе»).

— **С неорелигиозацией понятно. А общее структурное упрощение идеологического пространства чем объяснить?**

— Излишне сложные идеологемы секуляризму сейчас мешают. Они отнимают время, тормозят процессы управления и оптимизации в условиях посткапитализма.

— **А как секуляризм связан с экономическим строем?**

— После того как во времена Мартина Лютера легализуется ростовщичество, биржа по сути занимает место Церкви. Успешность со временем становится заменой понятиям благодати и святости: успешный оказывается «избранным ко спасению» и якобы обладает некоей общественной истиной. Чтобы развить и поддержать «успех» в мировом масштабе, требуется экспансия. Деньги должны делать деньги, используя как ресурс труд «менее успешных», а это уже требует принуждения.

Применяется насилие, и оно получает такое же оправдание, как и ростовщичество: вначале все объясняется волей Божьей, затем — интересами социального прогресса, которому можно принести в жертву кучку неграмотных дикарей. Ради «просвещения» остальных. Так возникает идеология культурного неравенства, миф превосходства и практика колониализма, которая

со временем приобретает форму нацизма. Все это — вместо реального христианства, где все равны перед Богом.

— **И это, так сказать, цивилизованное язычество?**

— Да. В жертву приносят не себя ради ближнего, а наоборот: ближнего приносят в жертву ради себя. Кидают его на алтарь, как Каин Авеля. Безусловно, это новое язычество. Для которого, говоря словами философа Рене Жирара, характерно «сакральное насилие» — то есть метафизическое оправдание использования своего ближнего как ресурса. Вот в этом, если хотите, первородный грех секуляризма. Этот грех можно заговорить идеологией, можно замаскировать цифрами, но от этого он не перестает быть грехом. Единственный способ забыть об этом — это разучиться думать и отучить думать других: например, лишив их полноценного образования и воспитания.

— **Как выглядит на сегодняшний день религиозность в зеркале секуляризма?**

— Представление о ней подчинено одной центральной догме: религиозность и секулярность — это взаимоисключающие взгляды на мир, черное и белое, между ними нет ничего общего. Секулярность исторически определяет себя как

«нерелигиозность» или «антирелигиозность». Это антирелигиозная религия. При этом секуляризм стремится единолично опираться на авторитет науки. И потому постулирует обязательную, хотя и не очень ясную корреляцию секуляризма и науки.

— **Что это значит?**

— Прямо или косвенно утверждается, что именно благодаря секуляристскому культурному окружению наука способна добывать и представлять «точное знание» об окружающем мире. Предполагается, что открытое высказывание идеи о трансцендентном противоречит исследовательским установкам, хотя многие известные ученые признавали существование Бога — от Альберта Эйнштейна до святителя Луки Войно-Ясенецкого. Таково основное, теоретическое обоснование секуляристского мифа.

— **Есть и другое?**

— Есть вспомогательное — историческое. Оно говорит о секуляризме как противоядии от религиозных войн и условия «вечного мира», о котором мечтали социальные философы со времен Лейбница и Канта. Но эта точка зрения самой историей давно опровергнута.

Секулярзация частично была продиктована в том числе и страхом перед жестокостью религиоз-

ных войн. Но все познается в сравнении. На секулярную эпоху приходится несколько кровавых революций, две мировые войны с миллионными жертвами, ядерные бомбардировки мирного населения, расовые, этнические и классовые чистки, нацизм и неоколониализм, мальтузианская мораль. Это все будет посерьезнее Тридцатилетней войны и Варфоломеевской ночи.

— Это сравнение напрашивается, но редко проводится. Почему?

— Рациональный подход не в интересах носителей и адептов секуляристского дискурса.

— Разве сама эта фигура умолчания не указывает на скрытую религиозность секулярной культуры?

— Указывает. Она как раз очерчивает в ней сферу сакральных смыслов и указывает на систему табуирования «неправильных» направлений мысли. Я убежден, что конфликты XX и XXI веков имеют квазирелигиозную основу. Но пока анализ этой стороны современной культуры табуирован, не включен в учебные пособия и информационную повестку. Но я уверен: изучение этого интереснейшего феномена — вопрос не такого уж далекого будущего, поскольку секуляристская картина мира сегодня испытывает серьезные проблемы.

— Какие?

— Проблемы в объяснении современных общественных процессов и в достижении общественного блага. Во-первых, это нравственный кризис: агрессивность в обществе растет. Во-вторых, эпистемологический кризис. Секуляристская культура сама отказывается от рационализма и научно-критического мировоззрения — в пользу новых суеверий информационной эпохи, вопреки своим первоначальным лозунгам и ценностям. Она иррационализируется и хранит веру в собственные «стандарты» и «институты», которые в действительности неэффективны. Демократия, денацификация, толерантность, инклюзивность — все это лишь декларации. Иррациональность секуляризма с каждым годом все более ощутима, и ее уже нельзя игнорировать.

— Это порождает общественные проблемы?

— К сожалению. Ответом на секулярный фундаментализм является, например, радикальный исламизм (не путать с традиционным исламом) и вообще псевдорелигиозный экстремизм. А дальше возникает эффект обратной связи: в ответ на экстремизм устами таких философов как Ульрих Бек объявляется, что наше общество — это «общество риска», что мы все — «команда мировой

опасности». А это уже путь к сворачиванию последних жалких остатков реальной демократии, к новой тоталитарности, к дегуманизации социальных отношений. Как бы для блага общества насаждается алармизм, а затем — вторым шагом — вводится кризисное управление, отменяются демократические нормы.

— Какие пути выхода существуют?

— Секулярная религия вынуждена либо отказываться от своих первоначальных постулатов, либо превращаться в тоталитарную доктрину, утверждая эти принципы силой. Сейчас, к сожалению, она идет по второму пути. Мы наблюдаем деградацию секулярных и политических институтов.

— Какое место занимает сегодня верующий в секуляристском социуме?

— Его терпят, если он соглашается быть частью системы, занять отведенную ему нишу, служить социальному порядку, быть полезным и не создавать проблем. Историческая религиозность допускается как феномен личной жизни, но не как социально значимое явление. Гражданская активность верующих подавляется, в том числе на уровне господствующих дискурсов: именно поэтому их называют мракобесами, ретроgrадами.

— Это все тоталитарные практики?

— Безусловно. В России сегодня критика секуляризма приравнена к святотатству, а теологию не соглашаются считать наукой.

— Православные в России ощущают это давление?

— Разумеется. Со стороны либеральных антиклерикалов.

— А извне, со стороны международного истеблишмента?

— Тоже. С точки зрения этих кругов православие, христианская ортодоксия занимает особое место, поскольку социальная концепция православия предполагает общество с вертикальной динамикой, а это противоречит идеям рыночного общества потребления и культурного превосходства. Православие рассматривается как некий неприбыльный взгляд на мир, отсталый и являющийся тормозом социального прогресса. Агрессивный секуляризм опасен. Он табуирует неудобные направления мысли.

— Какие?

— Наиболее старательно замалчиваются три вещи. Во-первых, то, что секуляризм сам

по себе уже идеологичен, что это не «нейтральное» состояние ума. Значит, когнитивный статус секуляриста аналогичен статусу верующего. А следовательно, их социальные статусы тоже должны быть равны. Общество не может считаться ни светским, ни религиозным на основании некоего врожденного «естественного» состояния. Такого состояния не существует, этот старый миф восемнадцатого столетия сегодня выглядит совершенно неправдоподобно. Идеология и право задаются либо властными практиками, либо традиционными ценностями. В наших интересах сделать так, чтобы преобладало право.

Второе. Игнорируется тот факт, что не существует одной-единственной секулярности. Секуляристский элемент — составная часть целого клубка идеологий. Отсюда — мировые войны и революции последних веков. Иными словами, никакого единого «стандарта секулярности» быть не может. Считать иначе было бы так же странно, как полагать, будто все исторические религии — это составные части одной религии, как бы «религии вообще».

— А третья табу?

— Оно касается того, что секуляризм тоже религиозен, то есть имеет свои трансцендентные содержания, свое метафизическое ядро, свою сакральность. На самом деле секулярность — про-

сто иной тип религиозности, чем, например, христианство.

— Как изучать секуляризм?

— Для начала следует заняться его историческим анализом. Ответить на вопросы: почему он структурно упрощается, в чем причины архаизации и неорелигиозации культурной среды и к чему это реально может привести. В любом случае мы должны понимать, что на самом деле социальное развитие не должно требовать человеческих, культурных и интеллектуальных жертв. Секулярная идея жертвоприношений, буквальных и символических, так называемое «сбрасывание с корабля современности» кого-то или чего-то ведут лишь к архаизации и примитивизации социальных связей и институтов. Знанием и опытом поколений нельзя разбрасываться, его нельзя перечеркивать. Я надеюсь, это понимание и станет отправной точкой для будущей работы.

Плаха — геноцид русских в XX веке

Чем отличается геноцид русских — Плаха — от еврейского Холокоста, и почему он до сих пор продолжается? Что представляет собой современная русофобия, и как это связано с западным геополитическим проектом? Что нам необходимо, чтобы сохранить национальную память и не проиграть в войне? Какую роль сыграл Крымский консенсус в примирении «белых» и «красных»? Геополитическая цель русофобии — лишить русских субъектности.

— О русофобии сегодня много говорят — и в связи с санкциями, и в связи с историческим отношением Запада к России. В чем истоки и смысл этого явления?

— Это трагическое явление, поэтому границы понятия нельзя размывать, превращать его в некий стикер. Русофобия существует как в России,

так и за ее пределами. В России это позиция тех, кто называет народ «быдлом», «потомственными рабами», а Россию считает чем-то вроде terra nullius — «ничейной землей», как говорили когда-то колонизаторы. Русофобия внешняя связана с политикой неолиберальных глобалистских элит. Их не устраивает само существование русских как нации. А мы в очередной раз по инерции пытаемся с ними договориться, упуская историческое время.

— Что вы вкладываете в понятие «русофобия»?

— Это видовое понятие, аналогичное таким, как «юдофобия», «англофобия» и т. д. Русофобия состоит из мифологем, разных по времени их появления на свет, которые регулярно воспроизводятся в культурном и информационном поле и становятся частью коллективного сознания, создавая ложную идентичность, размывая и расщепляя идентичность подлинную. Например: «Русские — пьяницы». Скажу честно, за свою уже достаточно долгую жизнь я видел пьющих людей самых разных национальностей. И я не могу сказать, что они пьют меньше, чем русские. Или: «Русские ленивы». Как это может быть, если они веками землю обрабатывали, города строили, наукой занимались? Я не говорю уже о творчестве, которое требует огромной энергии.

Еще более мрачный пример: якобы русские — «потомственные рабы», у них «рабская психология». Это говорится о нации, пережившей несколько революций. Объясняется данный тезис обычно тем, что у русских было крепостное право, хотя русская община его отторгала, а навязывалось и ужесточалось крепостное право компрадорской хлебной олигархией.

Русофобские мифы в публичном пространстве — вовсе не редкость, но эта ситуация не может быть терпима, если мы не хотим потерять нацию и государство. В отношении к русофобии должен существовать режим нулевой толерантности. Одно из условий ее изживания — это память о национальной трагедии, о национальной катастрофе.

— Западная русофобия — явление исторически случайное или закономерное?

— Абсолютно закономерное, и потому сама собой она не исчезнет, как бы мы ни пытались кому-то понравиться, кого-то умиротворить. Последние десятилетия наглядно это показали. Запад — единственная цивилизация, строящая свое развитие на отрицании собственной традиции, а затем и чужих традиций. Русская проблема для них заключается в том, что у нас с ними общее прошлое: мы тоже часть христианского мира, идею которого Запад отверг. Но мы не хотим и не можем отвергнуть традицию,

превратить себя в исторического Голема. Мы им мешаем уже самим фактом своего существования.

— Только мы? А как же Китай, арабский мир, «война цивилизаций»?

— Одно дело исламский или конфуцианский мир — это соперники Запада в политическом смысле, но это не касается западной идентичности. Они слишком другие, непохожие. Русские, наследники византийского проекта — глубинная, экзистенциальная угроза. Мы для Запада — пример альтернативной Европы, своего рода историческое зеркало. Существование восточнохристианской, неовизантийской цивилизации раскалывает западную идентичность, порождает у них страх утраты себя. Это описано в психологии как эффект «расколотого Я». Мы для них то же, что и для украинцев, только в более общем плане. Отсюда желание решить русский вопрос радикально и навсегда. И не только русский, но и православный. Вспомните о судьбе сербов, вспомните о том, что сделал Евросоюз с греками.

— Как в эту парадигму противостояния вписывается советский период?

— Советский проект был задуман и начинался как новый этап вестернизации, но неожиданно он обнаружил в себе и признаки традиции. Вторая

тенденция сперва не была видна, но постепенно начала укрепляться. Поэтому проект был демонтирован его диспетчерами и кураторами. Не сразу, а когда произошел скачок в информационную экономику и СССР стал вроде бы не нужен в качестве мнимой альтернативы капитализму. Правда, уйдя от биполярности в однополярность, глобалистский истеблишмент загнал себя в угол. Рано или поздно придется объясняться перед всем миром за века авторитарной политики и колонизации, за войны и перевороты, за навязывание своих ценностей и культурной гегемонии.

— **Сегодня западная русофобия усиливается?**

— Усиливается. Мы сейчас в состоянии гибридной войны, но боимся данный факт признавать. Из-за этого страха велик риск эту войну проиграть и на том завершить национальную историю, что было бы, согласитесь, обидно. Особенно сейчас, когда западный проект теряет легитимность и скатывается в кризис. Делается все, чтобы продлить его агонию. Поэтому регулярно «поджигают» мировые окраины, что равнозначно введению чрезвычайного положения в мировом масштабе. Что уж говорить о России. Мы мост между Западом и Востоком, исторический «перекресток». Чтобы овладеть этим мостом, нужно лишить русских субъектности, идентичности.

— **Геноцид русских в XX и XXI веках уже перестал быть табуированной темой? Ведется ли исследование этого вопроса?**

— Наше информационное пространство удивительно устроено. Вот прозвучало в Крымской речи президента признание русских крупнейшим в мире разделенным народом. Куда теперь эта тема подевалась из официальной повестки? Современные замалчивания неудобных тем построены не на прямых запретах, а на информационной дискриминации, на формализации политического дискурса, которая отсекает попытки прямого высказывания и одновременно лишает оппонента важнейшего ресурса — языковых смысловых опор.

— **Возможно ли полностью убрать из общественной повестки тему русофобии?**

— Нет, уже не получится. Русское гражданское общество, несмотря на десятилетия идеологической обработки, не утратило памяти о прошлом, о своих сакральных исторических сюжетах. В частности, память о геноциде русских в XX–XXI веках. Этот геноцид сегодня все чаще называют Плахой. В каком-то смысле это аналог еврейской Катастрофы — Холокоста, — но, конечно, есть много отличий. Например, еврейская Катастрофа уже завершилась, а русская продолжается на тех территориях, где запущена

программа дерусификации и национальных чисток. В своих публикациях я не раз писал о том, что геноциду русских давно надо было дать название. Евреи дали название геноциду своего народа — Холокост, украинцы, которые считают, что имел место геноцид по отношению именно к украинскому народу, назвали его «голодомором». Хотя на деле, если термин «голодомор» использовать, то по отношению не только к одним украинцам, а к огромному числу людей, которых в начале 1930-х годов коснулся жуткий голод — это и Поволжье, и Северный Кавказ, и Южный Урал, и Западная Сибирь. Голодом были охвачены огромные русские территории.

Уничтожению русских необходимо дать историческое название, поскольку пока названия нет, как бы нет и явления. Оно неразлично в информационном поле, и мы не можем его системно изучать, несмотря на наличие всей необходимой статистики, зафиксированных фактов, красноречивых примеров. Необходимо преодолеть инерцию и избирательность исторических подходов.

— **Какое название будет уместным?**

— Есть разные варианты, но я предложил исконно русское слово — Плаха.

— **Сколько этапов можно выделить в трагедии Плахи?**

— Обычно историки выделяют три этапа. Первый — галицийский. Геноцид был организован в 1914 году австро-венгерским режимом в Галиции и коснулся русских православных — русин. В царской России велась соответствующая статистика, поэтому сейчас мы знаем более или менее точное число репрессированных: около четверти миллиона человек. Я уверен, что названия концентрационных австрийских лагерей для русских — Талергоф, Терезин — должны войти в школьные учебники наряду с Освенцимом, Бухенвальдом, Дахау. Второй этап Плахи — немецкий. Это 1941 год. Теоретики третьего рейха сами определяли войну с СССР как «расовую», а русских, евреев и некоторые другие национальности и этносы — как неполноценные народы, от которых надо освободить «жизненное пространство» (Lebensraum) на Востоке. Об этом есть информация в документах плана «Ост», в знаменитой книжке «Унтерменш» и многих сопутствующих текстах. Третий этап — это уничтожение русских в 1990-е годы в Средней Азии, Киргизии, Казахстане, Приднестровье, а затем на территории Украины. Начиная с уличного лозунга «москаляку на гиляку!», заканчивая обстрелами и блокадами городов. Подсчеты жертв репрессий ведутся.

— **Как оценить внутренние процессы советского периода?**

— Непростая тема. Да, были многочисленные репрессии. Их сложно назвать геноцидом по национальному признаку, поскольку здесь не было избирательной национально-этнической резни. Хотя сам факт большевистского отторжения русских территорий в первые годы советской власти, включая авторитарную хрущевскую аннексию Крыма в 1954 году, объективно привел к искусственному разделению русского народа и создал дополнительную почву для этноцида.

— Как сегодня примирить «красных» и «белых»?

— Надо осознать две базовые вещи. Во-первых, что и «белые», и «красные» — это русские. И мы не можем пожертвовать какой-то половиной, выбросить ее из истории. Во-вторых, что примирение уже произошло, поскольку та Гражданская война закончилась. В ней исторически проиграли обе стороны, потому что раскол нации и разрыв традиции — это проигрыш для народа в целом, кто бы ни победил на поле боя. А затем обе части победили. И произошло это в 2014-м, когда мы вернули Крым. Потому что был положен конец разделению, частица разделенного народа вернулась домой. Стало понятно, что русские могут и будут сопротивляться колонизации и геноциду. При этом подавляющее большинство и «белых», и «красных» поддержали

этот шаг. Так сложился гражданский Крымский консенсус — те самые 85 %. Этот консенсус означал подлинное завершение почти столетней Гражданской войны. Трагический разрыв, возникший в 1917 году, был преодолен. В значительной мере этому способствовал возобновившийся русоцид и состояние войны, в котором оказался весь русский народ.

— У многих сейчас нет ощущения военного времени...

— Потому что война гибридная, а риторика в стиле «не надо поддаваться на провокации» действует усыпляюще. Но это смертельно опасное состояние. Однажды мы в нем уже находились, это было в 1940–1941 году, и мы хорошо помним, чем дело кончилось. Пропустили удар, едва успели оправиться, Господь помог. Но вряд ли мы хотим еще раз оказаться у самого края. Надо признать, что сейчас война идет и в самой России, но вовсе не между «белыми» и «красными». В ход идет все — призывы к нарушению территориальной целостности, борьба с национальной историей и другие симптомы. Это и выступление в бундестаге «Коли-с-Уренгоя», и показ на московском кинофестивале документального кинофильма, прославляющего запрещенный в России «Правый сектор», и попытка установления в Петербурге мемориальной доски Маннергейму, бомбившему блокадный Ленинград.

— Как вы объясните такой стереотип: о Холокосте говорить всегда правильно, уместно и необходимо, он хорошо исследован, за его непризнание предусмотрено наказание в ряде стран, а геноцид русских признавать — неприлично?

— Это двойные стандарты, порожденные русофобией. Табуирование темы Плахи связано с долгосрочной информационной кампанией против русских, с низким качеством части российских элит, с компрадорской идеологией. Это проявляется в правовой дискриминации, в социальной и лингвистической агрессии (табу и фигурах умолчания). Мы должны добиваться введения в России законов, которые бы защищали национальную память. Конечно, они не будут копией законов о Холокосте, но их задачи похожи. Это то, без чего наши национальные требования теряют свое глубинное основание. Чтобы требовать, надо ощущать себя историческими хозяевами на собственной земле. А это значит — защищать память о своих погибших.

— Как это можно делать?

— Так же, как мы недавно защищали память погибшего в Сирии летчика. А еще нужна долгая и кропотливая работа историков и архивистов. Вместо бесплодных споров о советском-антисоветском, о «красных» и «белых». Эти споры в на-

стоящий момент ничего не решают. Пора официально признать Плаху и трагедию разделенности русского народа, отразив это в законодательстве. Без всего этого политический мейнстрим обречен на ущербность. Нам необходима национально ориентированная политика в области истории, о чем я подробно писал в своей книге «История как общественный договор». Необходимо создать в России Институт национальной истории XX–XXI вв.

— Украинцы и белорусы — русские или нет? Надо ли тех, кто так не думает, в чем-то переубеждать? Может быть, англичанин или итальянец, приехавший поднимать русскую деревню, принявший православие, — больше русский по духу, чем свидетели на Майдане, кричащие «никогда мы не будем братьями»?

— Малороссы и белорусы были частями русского народа, за исключением населения бывшей Австро-Венгрии и ополяченной части белорусов на западе Белоруссии. Многие из них и остались русскими, но признаваться в этом в Белоруссии непрестижно, а на Украине просто опасно. И они молчат. Но есть украинцы и белорусы, которые себя русским категорически не считают. Их не надо и даже вредно в чем-то переубеждать. Это их выбор. Идентичность определяется по языку, культуре и религии, но есть еще один важный

фактор — самосознание. Человек может иметь двойную идентичность, субидентичности — например, русскую и советскую. В конечном счете он решает сам. То же самое можно сказать об англичанах или итальянцах, о которых вы спрашиваете. Если сами считают себя русскими — значит, русские. Сейчас вопрос начинает набирать актуальность, поскольку в России идет борьба за трактовку понятия «русский». Трактовок существует несколько: либерально-демократическая, либерально-националистическая, неосоветско-модернистская, «русского зарубежья», неоязыческая, антиглобалистская, церковная. Об этом подробно написал Василий Щипков в статье «Русский», которая вошла в философский сборник «По-другому».

— После развала СССР многие наши соотечественники неожиданно оказались «за границей» и почувствовали себя брошенными. Они обижены на Россию, которая не ведет внятной политики по защите их интересов. За последние годы ситуация не изменилась?

— Разумеется, они обижены, и я их понимаю. Страна, в которой русский язык и культура, сам русский этнос — государствообразующие, должна заступаться за братьев. Русские — главная социальная база государства в силу своей многочисленности. Как можно одновременно желать избежать оранжевой революции — и не засту-

паться за русских? А на кого тогда опираться? Если государство не защищает своих, его не воспринимают всерьез. Ни внутри страны, ни в мире. Это самоподрыв.

— Что означает понятие «русский мир»? Его часто использует Патриарх Кирилл, на память приходит его блестящая книга «Семь слов о русском мире». Церковь взяла на себя функцию идейного защитника русского мира?

— Святейший Патриарх Кирилл действительно первым заговорил о русском мире как геокультурном феномене еще четверть века тому назад. Странно, что понятие «русский мир» у нас до сих пор вызывает вопросы. Оно ведь очень ясное. Вот понятие «англосаксонский мир» ни у кого не вызывает вопросов. Русский мир — это территории с преобладанием носителей русской идентичности, у которых русский язык — родной, за вычетом тех немногих, кто сознательно не принимает это определение. Таких территорий за пределами России немало. Это результат разделенности русского народа и утраты ряда территорий. В книге «Семь слов о русском мире» Патриарх Кирилл коротко и емко дает характеристики этому явлению.

— Русская идентичность испытывает воздействие мощных деструктивных и стрессо-

вых факторов. Как избежать самых худших сценариев?

— Если национальная идентичность не будет выведена из-под удара и политически защищена, наш народ исчезнет, утратит историческую субъектность. Принято говорить, что идентичность определяется языком, культурой, религией. Но это не просто математическая сумма элементов, все это вкупе имеет значение, только если переживается как ценность. Это переживание поддерживает национальное самоопределение «снизу», которое сопровождается институализацией «сверху». Жизнь нации питается чувством сопричастности своей истории, которую создавали наши предки со всеми их успехами и неудачами и будут продолжать создавать потомки. Поэтому народ прекрасно помнит и понимает, что с ним происходило в прошлые эпохи.

Русский народ прекрасно осознает, что в XX веке его пытались уничтожить. Не просто воевать с ним, как это часто бывает с соседними народами, а уничтожить физически и культурно. По отношению к русским примерно с 1914 года осуществлялся геноцид. Кроме того, существует такое явление, как русофобия, это мощный инструмент, направленный и в наше время на разрушение нации.

— В чем, на ваш взгляд, состоит национальная идея России, о которой велись споры

начиная с XIX века? Как ее сегодня можно сформулировать?

— Национальная идея не может быть чем-то отдельным от всей национальной жизни, национальной традиции и национальных интересов, поэтому ее не надо специально искать. Это не какое-то автономное понятие или лозунг. Существует самосознание народа как коллективной личности. Все идеи этой коллективной личности «национальны». А в их основе лежит понимание того, кто мы такие, откуда пришли и куда движемся в истории, то есть собственно идентичность. Она дает нации почувствовать себя единым организмом. Можно сказать и по-другому: это физически-мистическое ощущение связи народа со своими предками. Переживание такого единства во времени — это «нерв» того, что называют традицией, национальным опытом. Патриотизм — естественное и неизбежное следствие такого переживания.

Но в диалоге с остальным миром одного этого переживания мало. На этом уровне возникает историческая миссия — нечто, что мы можем предложить не самим себе, а миру в целом. Например, Толстого, Чехова, Достоевского и Булгакова в мире читают охотнее, чем Тургенева, Гоголя и Платонова, не так ли? Вот эта транспарентность каких-то частей национального опыта и порождает историческую и

культурную миссию, которую можно назвать и «национальной идеей», если очень хочется. Но тогда важно подчеркнуть вот что: она обращена не внутрь нации, а вовне, адресована внешнему миру, а не самому себе. Это оформленная интенция народа как коллективного субъекта.

Возьмем известную уваровскую триаду «православие, самодержавие, народность». Это красивая, интересная, глубокая идеологема, но это не историческая миссия и не национальная идея. Но есть очень хороший пример из нашей недавней истории — шествие «Бессмертного полка». Чувство, которое охватывало людей, когда они поняли, что они вместе против реставрации нацизма — это мостик к исторической миссии, к «национальной идее». Ее не надо пытаться придумывать. Мы же прекрасно знаем, что такое 9 Мая, против кого и за что мы тогда сражались.

— А советский период — он укладывается в контекст русской истории?

— Советский период что-то сохранил, а что-то разрушил. Вообще XX век — такая же равноправная часть русской истории, как и все другие века, это ведь мы ее прожили, а не кто-то другой вместо нас. Просто этот период следует называть — «*советский период русской истории*». Мы должны серьезно осмыслить эту историю и

найти ей объяснения не только на уровне «хорошее — плохое» но и на уровне более сложных социокультурных алгоритмов. Поэтому не стоит слушать никого извне, кто готов предложить нам примитивные интерпретации нашей истории. История — это вопрос национального консенсуса. А национальный консенсус — это, во-первых, сугубо внутреннее дело, а во-вторых, он не бывает односторонним и однобоким. В сущности, это поиск общего культурно-исторического знаменателя. Только в этом случае мы пишем историю народа, а не тех или иных социальных и политических групп или правящих элит.

Теперь по поводу «плюсов» и «минусов». У советской истории есть огромный плюс: одной из главных опор всей советской идеологии было понятие социальной справедливости. Но тяга к справедливости, которая органично присуща русско-византийской цивилизации и ярко выражена именно в русском человеке, была эксплуатирована большевиками, использована ими в групповых интересах. Они понимали, что им нужно опираться на что-то, иначе народ не пойдет за ними. Именно поэтому победили не белые, а красные, предложившие идею справедливости.

Вообще-то к концу 1980-х годов мы построили социальное государство, в котором справедливо распределялись материальные блага. Хотя, надо признать, к этому времени советский

проект уже начал распадаться, поскольку одной только справедливости было недостаточно. От остальной части русской традиции большевики отказались с самого начала. В первую очередь они отказались от религии, пытаясь чем-то ее заменить, затем — от морально-нравственных, исторических, культурных оснований русского общества, Пушкина с корабля истории сбрасывали и так далее. Как сказали бы современные социологи, отказались от важного символического ресурса. Первой страной в мире, в которой были разрешены аборты, стала Советская Россия в 1918-м году. Отказались от истории, от орфографии, от старого стиля, даже от наименования дней недели, чтобы ликвидировать «воскресенье»...

Все эти действия были направлены на расщепление традиции и уничтожение большей ее части. И эта война с традицией, так или иначе, сохранялась до самого последнего дня советской власти.

Кстати, Патриарх Кирилл еще в бытность свою митрополитом Смоленским и Калининградским одним из первых начал говорить о целостности традиции, о традиционных ценностях, и во многом его тексты подтолкнули меня к размышлениям на эту тему.

— «Русский значит православный» — для многих это аксиома. Ваше мнение?

— Я бы несколько расширил определение: православный или разделяющий православные ценности. А еще можно дать определение русскости, оттолкнувшись от известной веберовской формулы. Немного схематичное, но в целом верное: «Русскость — это православная этика и дух солидарности».

Нацизм и колониализм в парадигме модерна

О природе нацизма и причинах его реабилитации в наше время, о попытках исторической и национальной локализации нацизма, о замалчивании некоторых его аспектов, о связи нацизма с колониалистской теорией и практикой модернистского общества.

— Сегодня мы наблюдаем поощрение нацистской идеологии в ряде стран Восточной Европы и поддержку западным политиком ультраправых режимов. В Бельгии марш «ветеранов» 28-й дивизии СС «Валлония» невозможен, а в Латвии проводят марши «черных легионеров», публично дарят им цветы. На Украине празднуют годовщину дивизии СС «Галичина». Но ведь формально на Западе нацизм осуждается. Как это объяснить?

— Это пример двойного стандарта. Они рассуждают так: нацизм нанес ущерб нам, нашему обществу, нашей демократии — поэтому и только поэтому он плох. Что касается Востока,

в частности России, то преступления нацизма по отношению к этим народам не имеют значения или попросту не имели места. Поскольку в России нет западных политических институтов и западной демократии, то нет и «состава преступления». Злодеи против варваров — ну что здесь такого? Это как разборки индейских племен. Если это политически выгодно, злодеев можно и поощрить. За границами «цивилизованного мира» никакая мораль не действует.

— А как же люди, миллионы погибших?

— Их это не волнует. На самом деле они возлагают вину на нацизм не за преступления против людей, а за преступления против цивилизации, против абстрактных «свобод». Те, кого они выносят за скобки свободного, цивилизованного мира, автоматически теряют право считаться потерпевшими, считаться жертвами геноцида.

— Но эта позиция сама по себе выглядит расистской, не так ли?

— Так и есть. В этом и состоит разница между православной и западной цивилизациями. В отношении к человеку. Для первой люди равны перед Богом. Для второй полноценный человек — это цивилизованный в их понимании субъект, институализированный и вписывающийся в необходимые западные стандарты.

— Мне это напоминает сюжет фильма «Танцующая в темноте», где полицейский, ограбивший женщину, не мог оказаться виновным, если жертва — родом из бывшего социалистического лагеря. Но тогда возникает вопрос: как относиться к теме денацификации?

— Как к политическому мифу. Никакой денацификации не было. Мы знаем, что бывшие высокопоставленные чиновники третьего рейха после войны занимали высокие посты и в бундесвере, и в политических кругах бывшей ФРГ. Были показательные процессы — и при этом сохранялись «ценные кадры». Так называемая денацификация — не более чем пиар-акция. Да и отношение к истории «третьего рейха», если взглянуть повнимательнее, весьма своеобразное. Критика расовой теории и геноцида была одно время популярной. Но при этом предают забвению возрождение рабства в Германии. Замалчивается такая тема, как подневольный труд «остов», угнанных в Германию. Напомню, что нацистское правительство в свое время объясняло данные меры «борьбой с безработицей».

— Как это?

— В архивах сохранилось «Объявление от 12 апреля 1942 года». В этом документе сказано,

что руководство «Великой Германии» дает работу советским рабочим, чтобы те не умерли с голоду — поскольку, мол, при отступлении части РККА взрывали фабрики и заводы.

— Своеобразная логика. Почему сегодня тема замалчивается?

— В первую очередь потому, что при разработке этой темы пришлось бы признать геноцид славян и в первую очередь — русских.

— Чтобы скрыть этот сюжет, используются некое умолчание, табу. На самом деле таких табу много?

— Много, и это части единой идеологической программы. Прежде всего феномен нацизма или национал-расизма стремятся локализовать в национальном и историческом аспектах.

— В национальном — как именно?

— Представить как исключительно немецкое явление, характерное для Германии в силу ее трудной исторической судьбы, долгого периода раздробленности, опоздания к разделу мира и так далее. Мол, нацизм — это особенность национального немецкого характера.

— Это неверно?

— Это полная ерунда. Конечно, необходимости покаяния немцев за геноцид русских никто не отменял. Тем не менее, очевидно, что национал-расизм — не германское, а общеевропейское и притом очень характерное явление. В сущности, Адольф Гитлер просто перенес европейскую колониальную практику с окраин мира в центр Европы, осуществил там «градацию человеческого материала». Европейцам это показалось дикостью, но не само по себе, а лишь потому, что Гитлер поступил с Европой, как с Африкой — реализовал афро-азиатский сценарий. То есть осуждение Гитлера оказалось не менее расистским, чем его же апологетика в 1939–1940-м. По принципу: в Азии — можно, в Европе — нельзя.

— Какие еще стороны нацизма замалчиваются?

— В рамках той же логики делается попытка ограничить феномен национал-расизма и по историко-хронологическому принципу, с этим связано нежелание замечать его истоки и его трансформации в XXI веке. С точки зрения локального, изолирующего историзма феномен берет начало в 1933 году с приходом Гитлера к власти и заканчивается в 1945-м, с капитуляцией Германии и началом ее денацификации. Понятно, что такому объяснению поверит только ребенок. Приход нацизма был подготовлен за

много десятилетий, а «уход» не состоялся до сих пор, и все разговоры о денацификации не стоят ломаного гроша.

— Зачем они ведутся?

— Они удобны, поскольку позволяют вести гибридные войны руками ультраправых правителей Восточной Европы. Удобны они и в целях полемики — позволяют подкрепить откровенно реваншистскую линию в немецкой историографии, связанную с позицией печально известного профессора Эрнста Нольте и его сторонников. Речь в рамках этой концепции идет о том, чтобы представить нацизм своего рода «вторым актом всевропейской гражданской войны», то есть некой неизбежной реакцией на коммунизм — цитируя Нольте, «зеркальным отражением иудеобольшевизма и неизбежной реакцией на него».

— Что можно сказать об этой гипотезе?

— Она не выдерживает критики по нескольким причинам. Во-первых, потому что сам коммунизм — как бы мы к нему ни относились — был реакцией на колониалистскую экспансию Запада, и именно поэтому революция была инициирована в полупериферийной стране — России. Она могла произойти и в полупериферийной Германии, но никак не в мировых центрах капитала, то есть в Англии или США. Следовательно,

так называемая «гражданская война Запада», о которой толкуют последователи Нольте, была не общеевропейской, а общемировой. Запад выступил в ней агрессором. А значит, коммунизм — явление XX века — был не первым, а в лучшем случае вторым актом этой драмы, а нацизм, соответственно, третьим актом.

— Реакцией на реакцию?

— Именно. Это легко показать на историческом материале. Единственное условие: необходимо признать нацизм закономерным продолжением и формой колониализма. Понимая, что все упирается именно в этот вопрос, либеральная историография, политология и социология будут до последнего возражать против такого признания и пытаться любой ценой разорвать связку «колониализм — нацизм», соответствующую очевидной исторической логике.

— Как показать колониалистские практики применительно к России?

— Экономика дореволюционной России была несамостоятельна. Она обслуживала западные рынки на правах хлебного придатка. Отсюда отставание и «аграрный» характер страны. На 80 % банковская система Российской империи контролировалась англо-французским капиталом. Революция февраля 1917-го была поддержана

и мгновенно признана Антантой. Эта революция — а точнее, переворот — помешала России заключить сепаратный мир с Германией и выйти из войны: что это, как не полное уничтожение политического суверенитета страны? Стоит помнить и о геноциде православных русин перед Первой мировой со стороны Австро-Венгрии.

— Этот геноцид замалчивается?

— И не только он. Стоит сказать и о геноциде православных сербов. Всем в Европе известна история желтых шестиконечных звезд, которыми гитлеровцы помечали евреев. Но мало кто знает, что означает голубая лента с буквой «П» («православный»), надетая на рукав. Диспетчерам либерального порядка крайне нежелательно, чтобы об этом знали. Но эту ленту вынуждено было носить православное население в период террора хорватских нацистов, усташей и крижаров. Около полумиллиона сербов было уничтожено, еще несколько сот тысяч насильно обращено в католичество или изгнано в Сербию. Оставшимся пришлось носить на руке голубую ленту с буквой «П».

— Какова роль Германии в попытке колонизации?

— Еще в 1886 году была основана Королевская Прусская комиссия по колонизации «восточ-

ных территорий», которую предполагалось проводить по образцу «программ переселения при Фридрихе Великом». В разработке программы колонизации принимал участие Макс Вебер, который предложил свой план колонизации «варварского Востока», соавтором его доклада стал Густав Шмоллер, Ну, и когда Гитлер незадолго до нападения на Россию называл ее будущей «германской Индией», он лишь вторил своим предшественникам. 22 июня 1941 года — это не просто начало этнической войны (тогда говорили: «расовой»), но запуск первого этапа программы колонизации согласно плану «Ост» — Generalplan Ost. Вполне очевидно, что в случае победы Германии над СССР все происходящее на территории бывшей России воспринималось бы в Европе как стандартная культуртрегерская практика европейских цивилизаторов по отношению к дикарям.

— **Иными словами, трактовка нацизма западным альянсом основана на принципе изолирующего историзма?**

— Совершенно верно, все формы локализации явления — это частный случай изолирующего исторического подхода. Ведь, в сущности, он предполагает тот же разрыв системных культурно-исторических связей, что и в революционных сюжетах. Только в данном случае речь идет не о позитивной, а о негативной тра-

диции (колониалистской, национал-расистской). Работает аналогичный принцип: нежелание проследить и признавать генеалогию такого явления, как нацизм, вырывание его из исторического контекста и мифологизация. «Похищение истории», как выражаются философы.

— **А как обстоит дело с темой открытой реабилитации нацизма в последние годы?**

— Тема замалчивается вопреки всякой логике и здравому смыслу. Более того, в 2014 году ультраправый переворот и геноцид русских на Украине были поддержаны ведущими западными странами. Было дано молчаливое согласие на «выравнивание» военно-силовыми методами национального состава Украины. Новым министром образования и науки Украины стал Сергей Квит — сотник организации «Тризуб Степана Бандеры» из состава «Правого сектора». Депутат Верховной рады Украины Иван Стойко на заседании парламента заявил, что его страна ведет войну с «монголоидной расой». Выражения «генетический мусор», «потомственные рабы», «форпост европейской цивилизации», «белая раса князя Ярослава» становятся нормой в украинском публичном пространстве.

— **Цель?**

— Создание мононационального государства в границах бывшей многонациональной УССР. В то же самое время происходит легализация неонацистской идеологии. США, Канада и Украина выступают против инициативы ООН о недопустимости героизации нацизма.

— **Что это означает?**

— Это знаковое событие. Оно показывает, что либеральное общество, будучи в состоянии кризиса, вновь скатывается в архаику, как в 1930-е годы. С идеологических тезисов «западного проекта» пришлось убрать тонкий налет цивилизованности и «разбудить спящего Ктулху», то есть явить миру своего внутреннего варвара. Сейчас силовыми методами создали некую «национальную украинскую Церковь», священников УПЦ МП регулярно вызывают в СБУ. Очень напоминает немецкий «кирхенкампф» 1930-х годов — политику подчинения и унификации церкви.

— **В какие моменты расистские основания системы западного глобализма наиболее очевидны?**

— В моменты кризисов, когда становится не до жиру — не до идеологической щепетильности.

— **Например, сегодня?**

— Конечно. Процесс радикализации и нарастания тоталитарных тенденций активно шел последние 30 лет.

— **С начала 1990-х?**

— Да. Это началось после распада советского блока, когда не с кем стало соревноваться в «гуманизации общества», в социальной политике. Руки оказались развязаны, и пошел обратный процесс — отказ государства от социальных обязательств. Возникают темы «конфликта цивилизаций», «общества риска», «правильной и неправильной сторон истории».

— **Это напоминает колониалистскую риторику.**

— Такая смена дискурса говорит о готовности к применению неограниченного насилия. Либеральный мейнстрим возвращается к доктрине опосредованного колониализма, а затем происходит реабилитация нацизма. Последние приличия отброшены. Как справедливо писал философ А. С. Панарин, «демократическое неприятие тоталитаризма обернулось неприятием незападных цивилизаций как находящихся на подозрении в силу самой их природы». Возникает и явление обращенной тоталитарности, когда отрицание тоталитаризма само становится формой принуждения, порождает репрессивность. При

этом поиск реальных исторических корней тоталитаризма табуируется. Вместо этого язык подбрасывает готовые шаблоны: «массовые репрессии», «коммунизм и фашизм — исторические двойники» и прочее.

— Но разве все это неправда?

— Это только часть правды. На самом деле тоталитарность характерна для любой модернистской идеологии. На ней замешаны идеи кардинального разрыва с прошлым, с коллективным опытом, с наследием, идеи расчистки места для «нового дивного мира», мира «без предрассудков». Данные мотивы присутствуют и в коммунизме, и в нацизме, и в либерализме. Сегодня обнажаются корни модернистского мифа превосходства и реабилитируется нацизм. Это признак радикализации материнской идеологии — либерального социал-дарвинизма.

— Образ нового дивного мира питал колониалистские мифы превосходства?

— Да, к сожалению. Идеей просвещения «дикарей» оправдывалось порабощение целых народов. Противопоставление «современности» и «традиции» использовалось для того, чтобы выдать колониалистскую экспансию за просвещение. Политическим лейтмотивом звучали следующие тезисы: «Мы вначале просветили сами

себя и теперь имеем право просвещать вас». Это и есть тот самый «неведомый бог колониализма». Идея европейского культурного превосходства над остальным миром приобретает религиозный характер. В устойчивом виде идейный базис колонизации сформулирован в «просвещенном» XVIII веке, например в трудах маркиза Мирабо, где регулярно встречается осевая триада: «архаика — варварство — цивилизация». Чтобы превратить это в идеологию, достаточно распределить народы и общества по историческим «стадиям», подчинив их единым эволюционистским критериям. Следующий шаг — оправдание отъема ресурсов у «менее» развитых «более» развитыми. Так возникает теория социальной модернизации.

— Иногда можно встретить утверждение о том, что нацизм склонен к крайнему традиционализму.

— Все как раз наоборот. Нацизм и традиционализм диаметрально противоположны. И нацизм, и вообще любой вид расизма построены на принципе избирательности, отделении «высших» от «низших». А традиция объединяет всех, она — общая. Расовые теории нацизма, физическое уничтожение представителей целых народов (евреев, русских, цыган и др.), а также людей социально неуспешных и душевнобольных, связаны с так называемой евгеникой, а не

с традицией. В евгенике, кстати, надо искать истоки и современной концепции high hume и всех трансгуманистических идей об искусственном изменении природы человека. С такой же избирательностью расизм и нацизм подходят к человеческой истории. Из всей традиции выбирают только то, что соответствует героическим образам. Например, образы сверхчеловека Фридриха Ницше, титанов Возрождения, фаустовские мотивы и сюжеты. А вот образы христианских святых не были приняты эстетикой третьего рейха, которая считала христианское искусство болезненным проявлением упадничества. Это прямое продолжение линии Ницше, который в книгах «Так говорил Заратустра» и «Антихристианин» отверг христианство как культ «слабых и уродливых». Расисту не нужен любящий Христос, расисту нужен «сильный» Заратустра.

— **Нацизм и коммунизм можно объединить под общим знаменателем тоталитаризма?**

— Концепция «двух тоталитаризмов» (шире — «закрытых обществ») имеет не научную, а чисто политическую природу. Она появилась в работах Карла Поппера («Открытое общество и его враги») и Ханны Арендт («Истоки тоталитаризма»), а также политолога Збигнева Бжезинского и некоторых других авторов. Концепция родилась с началом холодной войны, но оказалась намно-

го долговечнее политических блоков. Смысл ее прост: коммунистические и фашистские режимы являются политически родственными и противостоят либеральным демократиям. Механизм воздействия на общественное сознание здесь довольно прост: это постоянное напоминание об исторической травме. То есть апелляция не к рациональной, а к эмоциональной сфере. Без картины темного тоталитарного прошлого не вырисовывается картина светлого либерального будущего (из-за слишком большого количества издержек в виде «межцивилизационных» войн, смены режимов и пр.). Поэтому так необходим образ исторического врага.

— **Сегодня концепцию бинарного («двойного») тоталитаризма следует считать несостоятельной?**

— Безусловно. Модернизм действительно тоталитарен. Но нацизм, либерализм и коммунизм являются лишь его составными частями. Первый представляет собой «ценностный» исток, второй — теоретический базис, третий — ложную теоретическую альтернативу, якобы «допустимую» вариацию. Поэтому выстраивать систему «два тоталитаризма — одна демократия» просто не имеет смысла. Можно говорить о трех тоталитаризмах, да. Но в этом случае слово «тоталитаризм» кардинально меняет смысл. Оно обозначает уже не доктрины, а состояние идео-

логического пространства в целом, которое возникло в XX веке. «Состояние тоталитаризма» и есть конечный итог развития европейской мысли после 1789 года. Следовательно, правильно говорить не об отдельных идеях, а о состоянии тоталитаризма, в которое вошли европейская мысль и европейская политика в прошлом столетии. Подлинным конкурентом тоталитаризма было и остается только христианство.

— Как связаны национализм и нацизм? Это не формы одного и того же явления?

— Здоровый, нормальный национализм также противоположен нацизму. Это просто идея национального суверенитета и национальных ценностей своего народа на его исторической территории. В норме такое качество присуще любому народу. Разве в борьбе индийцев, африканцев и других народов бывших колоний за свою независимость не было национализма? А в сопротивлении партизан оккупантам в Великую Отечественную? Конечно, был. Это национальное чувство — безусловно, национализм.

— В чем основное отличие?

— Важная отличительная черта национализма в том, что его носители уважают такое же право на национализм в других нациях на их

исторических территориях. Националист считает других националистов равными себе. Нацизм же предполагает превосходство одного национализма над другими и одной нации или группы наций над другими. Этот миф превосходства создает концепцию природного неравенства людей на национальном, а не индивидуальном уровне. Таков нацизм, он же национал-расизм. Та же ситуация с культурной проблематикой: одно дело уникальность каждой культуры, другое дело превосходство одной культуры над прочими (культур-расизм). Тоже миф превосходства. В нацизме всегда присутствует некая метафизическая, квазирелигиозная предпосылка, которая объясняет это превосходство («бремя белого человека», «сверхчеловек» и т. д.).

— Почему все же такие страны, как США и Украина, голосуют против проекта ООН о запрете героизации нацизма?

— Этот проект им категорически не нравится. Вероятно, не нравятся критерии, определяющие нацизм, под которые украинский режим неизбежно подпадает. А вывод в итоге простой: Украина не в состоянии сохраниться как единое государство без нацизма и репрессий. Правда и то, что идентичность современных США очень созвучна украинской, только американский расизм не национальный, а цивилизационный и имеет религиозные корни. Они связаны с про-

тестантским радикальным эсхатологическим течением — диспенсациализмом (от латинского *despensatio* — «промысел», «замысел»).

— **Что это такое?**

— Проповедники этого направления всегда имели влияние на американских неоконсерваторов, в частности на Р. Рейгана и Дж. Буша. Согласно диспенсациализму, помимо евреев как избранного народа есть второй избранный народ — англосаксы, и у них есть особая мировая миссия — победить восточных варваров. Говоря об «империи зла», Рейган имел в виду именно это. Также в США у радикальных протестантов и политиков есть расхожее понятие «Manifest Destiny» — «проявленная судьба» или «замысел судьбы». Речь идет о том, что американская гегемония имеет особую божественную санкцию. В официальной политике эта мысль облекается в мягкие выражения вроде «глобального лидерства» и т. п. Но смысл тот же: право США распространять национальные критерии на весь остальной мир — в частности, утвердить экстерриториальность американской юрисдикции. США выступают в роли носителя и хранителя критериев всей западной цивилизации, олицетворяют своего рода «этос западного мира».

— **Есть какой-то исторический выход из этой ситуации?**

— **Есть.** Вопрос о нацизме сводим к более общему вопросу — об исторической вине так называемого Запада перед остальным миром, о покаянии и об искуплении этой вины. Рано или поздно европейцы и американцы к этому придут.

Церковь, государство, идеология

Каковы сегодня отношения Церкви и государства? Какие общественные проблемы больше всего беспокоят Церковь? Чем вредна идея «коллективного покаяния»? Зачем изучать идеологии?

— Какова идеальная модель церковно-государственных отношений на нынешнем этапе в России?

— Скажу, может быть, неожиданную для вас вещь — мне кажется, что как раз сейчас эти отношения почти идеальны.

— Почему «почти идеальны»?

— Разумеется, никакие отношения в нашем грешном мире не могут быть идеальны полностью. Я как человек, который непосредственно занимается взаимоотношениями с государственными органами, знаю, какое огромное количество проблем существует между Церковью и государством. Но это не какие-то острополитиче-

ские проблемы, а вопросы, касающиеся нашей текущей, в каком-то смысле бытовой жизни. Жизнь — это движение, и она постоянно подбрасывает задачи, связанные с землеотводами, строительными ГОСТами, паломничеством, аккредитацией учебных заведений, окормлением заключенных, медицинским обслуживанием православных интернатов для детей с синдромом Дауна, пожарной безопасностью зданий и так до бесконечности. И, собственно, отношения Церкви и государства — это постоянный поиск наиболее удачных механизмов для решения этих проблем с пользой для общества.

— Можно ли сказать, что сегодня между государством и Церковью имеет место идейная симфония?

— Нет, конечно. Такой симфонии нет и не может быть.

— Почему?

— Главная цель Церкви находится по ту сторону нашей земной жизни, а государство занимается земными делами, и в этом принципиальное отличие.

— В Византии и в Российской империи симфония в том или ином виде существовала, а почему ее нет сейчас?

— Мы, разумеется, наследники Византии, но на данном историческом отрезке живем в секулярном государстве. Секулярность — это абсолютно конкретная идеология. И я даю характеристику именно этой ситуации. Мы с вами говорим про светскую идеологию и про светское государство, а не про монархию, возглавляемую помазанником Божиим, где религиозность присутствовала в самих основах государственной идеологии. О симфонии здесь говорить бессмысленно.

— Тогда получается, что в каких-то пределах неизбежен и конфликт?

— В той или иной степени конфликт между Церковью и государством неизбежен в любом случае, потому что между ними всегда будет конкуренция за человека. Для секулярного государства человек — это, к сожалению, в первую очередь объект, который оно эксплуатирует. А Церковь ставит себе целью привести его к спасению. Тут разные подходы к пониманию самой природы человека.

— А почему, хотя у нас в Конституции прописана либеральная идеология, к Церкви в своих истоках и основе недружественная, вы все равно считаете отношения между государством и Церковью почти идеальными?

— Я говорю о политическом измерении отношений, которые сложились между Церковью и государством в период президентства Владимира Путина. При Ельцине все было иначе. После Путина все может измениться. Сегодня можем находить точки соприкосновения и вступать с властью в продуктивный диалог, который помогает решению многих проблем.

— А конкретно с кем диалог?

— Здесь все зависит от уровня. Если мы говорим о Патриархе Кирилле, то, естественно, это диалог с Владимиром Путиным. Если мы опускаемся на ступеньку ниже, то этому тоже есть соответствующие параллели. Например, епископ — губернатор. У нас порой пишут: «Какой ужас! Епископ взаимодействует с губернатором!» А кто с ним должен взаимодействовать? Благодочинный? Староста храма? Губернатор может дружить с каким-нибудь батюшкой, исповедаться у него и ходить к нему в гости. Но решать вопросы, которые возникают в области церковно-государственных отношений, он будет, конечно, с епископом, который властен принимать решения и несет за них ответственность.

Есть очень-очень сложные вопросы в сфере церковно-государственных отношений, например тема абортотв. Ну никак не удастся ее решить. Я говорю сейчас даже не о полном запрете

на аборты, а о выведении их финансирования из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Это предложение встречает невероятно сильное сопротивление. Здесь происходит столкновение абсолютно разных мировоззрений. Идеология жизни противостоит идеологии смерти.

— Могли бы вы назвать наряду с абортами еще какие-то проблемы, которые сильно беспокоят Церковь?

— Вы знаете, я могу назвать смысловые проблемы, не связанные напрямую с законодательной сферой, которой мне приходится заниматься по долгу службы. Например, размывание понятий добра и зла. Хотя, казалось бы, ну что тут такого? Но с тех пор как Маяковский написал свой знаменитый детский стишок, понятия добра и зла у нас опустились сначала на уровень «хорошо» и «плохо», а потом вообще стали исчезать.

Я, например, просмотрел тексты школьных учебников по «Обществознанию» и поразился. Они чудовищные как с нравственной, так и с идеологической точки зрения. В частности, там не прямым, конечно, текстом, но косвенно детям внушают представление об относительности добра и зла. Например, объясняют, что человек — это настолько сложное существо, что в нем обязательно есть зло и есть добро, которые

уравновешивают друг друга, создавая гармонию, баланс. Это даже не секуляризм, это уже некое религиозное учение. Прямо противоположное всем авраамическим религиям.

Возьмем параграф про семью. Объясняется, что общество состоит из малых групп. С этим, казалось бы, можно согласиться. Имеются в виду футбольные фанаты, филателисты, профессиональные группы и т. д. Но к малым группам приравнивают также семью. В то время как семья — главная и основополагающая часть общества. Без семьи общество разрушается. Когда коммунисты придумали выражение «семья — это ячейка общества», они скопировали христианскую идею семьи как малой Церкви.

А ведь, между прочим, история, литература и философия, которая преподается в школе под названием «обществознание», — это три самых важных предмета с ценностной точки зрения. Это вещи, как вы понимаете, принципиальные. Речь идет о детях, которые через 10–15 лет сами станут родителями. Внушенные установки и дальше будут передаваться по цепочке. В этом смысле идет настоящее разложение общества. А задача Церкви нацелена на собирание человека и народа. Кто бы что ни говорил, но решать эти вопросы государству придется вместе с Церковью.

— В либеральной идеологии считается, что человек должен сам для себя определять, что

добро и что зло. Он же свободное существо, почему же ему навязывают, что он должен думать?

— Но человек сначала должен *уметь* определять, что есть добро и что зло. А учат этому в детстве.

— Скажут, а кто будет решать, кто умеет, а кто нет?

— Для этого существует Евангелие. А мнение, которое вы приводите, это пример рассуждения, в котором имплицировано, что я есмь бог, а не «тварь дрожащая».

Указанные проблемы вопиют, и нам непременно придется переписывать учебники по обществознанию, литературе, истории. Надо вообще перестать бояться говорить вслух, что мы сами интерпретируем нашу историю и литературу, сами объясняем нашим детям, как их понимать.

— Как вы считаете, возможен ли в России хороший либерализм? Почему он у нас всегда какой-то не такой: либо корявый и неуспешный, либо откровенно вредительский?

— Это нескончаемый разговор. Но говорить о классическом либерализме — какой в этом смысл? Его уже нет, он в прошлом. Разве что если занимаешься историей политической мыс-

ли. Сейчас мы имеем дело с неолиберализмом или постлиберализмом. Он тоже не свалился с неба: это логическое завершение, закат либеральной идеологии. Понятно, что она уже на излете. Сейчас, на мой взгляд, гораздо интереснее думать о том, что придет на смену либерализму. И первое, что приходит в голову, это консерватизм. Но здесь начинаются проблемы, потому что консерватизм очень разный. С одной стороны, есть либералы, которые хотят сохранить властные рычаги и мимикрируют под запрос на консерватизм. С другой стороны, поговоришь с коммунистами, а они тоже называют себя консерваторами, консервируют определенную эпоху — советскую. Есть работы, авторы которых насчитывают сегодня до десятка типов консерватизма. Как разобраться? Я предпочитаю последнее время пользоваться термином «традиционализм».

На мой взгляд, в мире в целом сейчас идет поворот к традиции. То есть на смену либерализму приходит традиционализм в каком-то широком смысле. Но внутри этого глобального поворота есть два направления, и мы находимся сейчас в очень опасной точке. Один путь — это путь христианской традиции, а также традиции действительно народной и национальной. А второй путь — это фашизм, традиционализм на основе расизма. А у либералов всегда была очень сильная расистская составляющая, просто они это слово по отношению к себе никогда не употребляли. Я имею в виду их идеологию превосходства, иде-

ологию «бремени белого человека», которая лежит в основе оправдания колониализма.

— Разве для России сейчас характерна расовая или национальная напряженность?

— Посмотрите на Украину. Как там могло такое произойти? И нет никаких гарантий, что похожее не может случиться и в России. Чтобы этого не произошло у нас дома, мы должны четко понимать причины украинской катастрофы и принимать соответствующие меры. Прежде всего, мы должны об этом думать и это анализировать. Однако неоконсерваторы (то есть вчерашние либералы) нам говорят: «Ребята, не надо об этом думать. Ребята, какие еще идеологии? Ребята, нет никаких идеологий и не будет». Либералы почему-то очень любят слово «ребята».

— Вы ввели понятие левоконсервативного синтеза, что вы под ним понимаете?

— Левоконсервативный синтез, или социал-традиция, как я предпочитаю это называть, — это соединение социальной идеи, которую в основном эксплуатируют или развивают левые партии, и национально-нравственного сбережения, которым занимаются партии консервативного толка. Моя мысль очень проста: у левых взять социальное, а у правых национально-нравственное начало и их соединить. Потому что, на мой

взгляд, это очень близко и свойственно русскому человеку — сочетание тяги к справедливости и тяги к корням, к национальной и народной традиции.

Такая общинность для нас естественна и логична. Главная проблема начала XX века в России, из которой и выросла революция, — это разрыв и расхождение этих двух начал, образовавшаяся между ними пропасть. Большевики предложили отказаться от традиции и опираться только на понятие справедливости. Они победили не потому, что были сильнее. Нет, просто их поддержал народ, ведь они говорили о социальной справедливости, что было очень созвучно русскому человеку. Но они отказались от национальной религиозной традиции, и потому продержались всего 75 лет, и рухнули. В России одно без другого невозможно.

— Интересно, что в результате революции православную монархию у нас сменил именно большевистский режим, который был радикально левым. Сначала у нас были самодержавие и православие, а потом сразу коммунистическая идеология.

— Да, именно эти силы оказались главными конкурентами за народ. И выиграла та, которая смогла привлечь его на свою сторону. В этом смысле самодержавие проиграло. Та сила, которая победила 25 октября 1917 года, не за один

день возникла и давно к этому шла, вызревала. Этот процесс еще задолго до Октябрьской революции описывал Лесков в романах «На ножах» и «Некуда», Достоевский в «Бесах».

— А как вы относитесь к советской эпохе?

— Советская эпоха — тоже часть и период русской истории, как были, например, в русской истории петровский или екатерининский периоды. И поэтому большая ошибка пытаться изъять, выкинуть его из нашей истории, сделать вид, что его не было или что это был сплошной негативный опыт длиной в 70 лет.

Жизнь народа и страны тогда шла и продолжалась. Люди жили, мягко говоря, в непростых условиях, но рождались дети, одерживались победы в войнах, развивались наука и литература и т. д. А нам предлагают сделать вид, что этого не было, что все это надо вычеркнуть. Ведь Фадеев и Шаламов — оба писатели советского периода русской литературы. А Бернес с Шульженко и Высоцкий с Галичем — советские певцы и барды.

— Некоторые считают, что церковный человек не должен признавать советский период, потому что на фоне беспримерных гонений, которым тогда подверглась Церковь, в христианском сознании любые плюсы советского периода должны меркнуть.

— Да, мы, конечно, осуждаем гонения и гонителей. Православный человек, безусловно, должен это делать. Но мы должны осуждать конкретные деяния и конкретных гонителей: вот, имярек такой-то, он был палачом. Мы не можем сказать, что все люди на протяжении всей истории Советского Союза однозначно плохие и виноватые и мы всех их скопом должны заклеить. Давайте поднимать документы и конкретные дела и разбираться.

Когда в этом контексте начинают говорить «власть вообще» или «народ вообще», «весь народ виноват», то тут возникает совершенно не христианская, а политическая идея коллективного покаяния, требование, что «весь народ должен покаяться». Любимая тема поэта Ольги Седаковой. Она пишет об этом в мрачном политико-мистическом ключе. Если весь народ должен покаяться в сталинских гонениях, то весь народ подлежит и суровому наказанию. Не конкретный палач в пыльном шлеме, заметьте, а весь народ. Тот самый расстрелянный, а теперь и оболганный народ.

Ведь все эти разговоры сводятся, хотя вслух это не произносится, к чисто политтехнологической задаче обезоружить и сделать совершенно пассивным весь русский народ. Это способ вызвать паралич народной воли. У народа, который все время убеждают, что он виноват, наступает паралич воли. Бери его голыми руками. Ты виноват? Плати! Раз ты виноват, то не обижайся, что

мы у тебя выкачиваем нефть, зерно, уголь, золото, деньги, ум, все что угодно. Молчи и не смей мечтать о суверенитете своей страны. Мы умные, современные, прогрессивные, рукопожатные, белые, голубоглазые, а вы — индейцы, негры, цыгане, евреи, русские, ватники... Ну, это в зависимости от эпохи.

Это тот же самый расистский подход. Расизм бывает этнический, социальный, культурный и пр. Расизм ведь можно выстраивать и по принципу «мы никогда не виновны, а вы всегда виновны». В этом смысле поведение МОК — чистый расизм. наших спортсменов даже внешне выделили — одели в серые зэковские бушлаты. И получается: одни народы лучше, а другие хуже. Мы обучили вас английской грамоте, а за это забираем у вас слоновую кость. Вы же второй сорт, а мы — Киплинги. Нет на нас вины, потому что мы стоим на высшей ступени развития. Постыдная мерзость.

Так что изучение идеологий — первостепенная государственная задача. И мы имеем полное право задавать себе идеологические вопросы: кто мы, русские, и куда мы идем? Чего мы хотим, и как мы будем жить на нашей земле? И как на ней будут дальше жить наши потомки? Все это вопросы идеологические. А нам запрещают думать об этом. Слову «идеология» искусственно придали отрицательную коннотацию: либералы говорят, что идеология бывает только коммунистическая или фашистская. А свою, либеральную идеоло-

гию они идеологией не называют. Это примитивный обман, но на него покупаются доверчивые русские люди.

Обратите внимание — сегодня в России закрыты абсолютно все диссертационные советы по научной специальности 23.00.03 «Политическая культура и идеологии». Это означает, что в России академическое изучение идеологий полностью закрыто. Мысль искусственно и насильно остановлена. По большому счету — это огромный политический скандал. Об этом нужно говорить публично и вслух.

Русская культура и «застой»

Мы вступили в эпоху переоценки ценностей, и привычные понятия требуют переосмысления. Слово «застой» — как раз такое понятие. Это один из самых популярных мемов и маячков массового сознания. Застоем называют период с момента прихода к власти в 1964 году Л. И. Брежнева до апрельского 1985 года Пленума ЦК КПСС. К эпохе «застоя» принято делать отсылки из повседневности, сравнивать с ним существующие порядки. Есть точка зрения, для которой «застой» и «стабильность» являются синонимами.

— Как определить понятие «застой»?

— Дать исчерпывающее определение этому понятию сложно из-за его нарочитой размытости. Понятие «застой» вставить в какую-либо парадигму невозможно, такой парадигмы не существует. Непонятно, с чем сравнивать и с какой стороны начинать анализировать.

Можем ли мы найти в истории аналог «застоя»? Почему понятие связано только с советским периодом — а в остальное время «застоя» быть не могло? Скажем, период правления Павла I в России — это застой? А «великая депрессия» в США в 1920–1930-х? А нынешнее состояние Европы с его кризисными явлениями? Или «застой» был единственным на все времена? Конечно, это понятие не научное, а идеологическое. Изучая его, мы изучаем не понятие, а историческую рефлексию определенной социокультурной группы.

— Сделать слово «застой» рабочим термином для историков, социологов, политологов нельзя?

— Не получится. Этим словом можно назвать что угодно и где угодно. Поэтому, как только вы выносите это понятие за рамки советского контекста, оно на глазах теряет смысл.

— А если идти от личного опыта и сравнить состояние общества в это время с состоянием до и после этого периода?

— Попробуем. Начало «застоя» я хорошо помню. В сентябре 1964 года я поступил в школу, а в октябре мы всем классом по указанию учителя вырывали из букваря портрет Никиты Хрущева. Когда говорят о Хрущеве, в первую очередь вспо-

минают о развенчании «культы личности», об «оттепели», то есть об идеологии. А что происходило в экономике? Хрущев закрепил партийное руководство, партийный надсмотр за хозяйственной деятельностью в стране. Но поскольку партийцы управлять не умели, ситуация поехала в кювет. Сегодня многие даже не знают, что во второй половине 1950-х в стране была безработица. В 1961 году дело закончилось денежной реформой, которая была неизбежна вследствие финансового кризиса. По сути это было скрытое повышение цен. Крайне редко вспоминают о масштабной антирелигиозной кампании, которую вел Хрущев. В церковной истории существует понятие «хрущевские гонения»: это и тюремные заключения за христианские убеждения, и разрушение тысяч храмов и монастырей. Если сравнивать хрущевский период и период «застоя», неизвестно, где больше плюсов и где больше минусов. Во всяком случае Н. С. Хрущев был в разы авторитарнее, несмотря ни на какие оттепели, чем Л. И. Брежнев.

— Какой период был более кризисным?

— Брежневский период уж точно нельзя назвать кризисным. Кризисные периоды — это время М. С. Горбачева, после 1985 года, и вторая половина 1950-х — начало 1960-х годов. Скажем, маленковский период был менее кризисным.

Кстати, память о Г. М. Маленкове у нас связана только с так называемым «маленковским стаканом». Не знаю, почему именно к нему прицепили этот граненый стакан в 275 граммов с ободком наверху, который, как гласит легенда, был сделан по эскизу В. И. Мухиной. Маленков — фигура интересная и неизученная, как и ряд других советских фигур, например А. А. Жданов, который принадлежал «русской партии» в КПСС и был антагонистом того же Маленкова. Мы практически не знаем истории России XX века, и нам еще предстоит пласт за пластом открывать, что это были за люди, какие у них были идеи, какие возникали интеллектуальные и идейные противостояния.

— Как бы вы охарактеризовали брежневский период с точки зрения культуры, что происходило в культурной сфере?

— В этот период в сфере культуры происходили невероятно интересные процессы. Когда мы смотрим на так называемый период «застоя», мы психологически отделяем официальную советскую культуру от процессов, которые протекали в подполье. Отделяем официоз от самиздата, противопоставляем эти явления. Это ошибочный подход, он мешает комплексно оценить процесс, который развивался в советский период русской культуры. Это был единый процесс, а не два

параллельных. Семидесятые — это расцвет писателей-деревенщиков и писателей демократов («городских»), расцвет русского рока, бардовской поэзии. А еще — невероятный религиозный подъем, который приводил в храмы одновременно и лохматую молодежь из «системы» (хиппи, автостопщики, рокеры), и стриженных комсомольцев.

А кинематограф? Вот лишь несколько названий фильмов, снятых в то время: «Солярис», «А зори здесь тихие», «Тени исчезают в полдень», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Иван Васильевич меняет профессию», «Монолог», «В бой идут одни старики», «Свой среди чужих...», «Ирония судьбы...», «Зеркало», «Чужие письма»... Почти все лучшее было снято в эти годы. Именно эти фильмы интересно смотреть до сих пор, они «работают». Какой же это застой? Это взлет русского кинематографа, русской прозы, поэзии.

— **Каким образом брежневская эпоха на нас оказывает влияние сегодня, как мы ее чувствуем? Смотрим кино, которое было снято в 1970-е?**

— В том числе. Сегодняшнее телевидение, сегодняшний театр эксплуатируют именно тот период, живут культурным ресурсом периода, который они оболгали, назвав «застойным». А на самом деле это было своего рода барочное время. Особенно в поэзии.

— **В чем секрет всего этого, и какая там была закваска? Она оказалась настолько сильной и мощной, что мы до сих пор от нее питаемся, не так ли?**

— В первую очередь — искренность. Последнее двадцатилетие советской власти — период стагнации коммунистической партии, когда партийцы погружались в полный цинизм и срачивались с «горпищеторгом». Кроме денег и барахла их ничего не интересовало. Они демонтировали государство и взяли в руки деньги. Именно этого они хотели, именно этого добивались. Культура и вообще вся интеллектуальная сфера продолжала существовать независимо от горстки номенклатурных работников, представители которой, по большому счету, и были настоящими антисоветчиками.

— **Как это?**

— В 1970-е годы коммунисты утверждали, что мы, православные, — антисоветчики. Что мы против советской власти. А что такое советская власть? Это наше отечество, которое в данный период истории было устроено несколько нелепым образом, но от этого оно не переставало быть нашим отечеством, нашей Россией. Мы, защищая Церковь, защищали свою традицию, свою историю, свою религию и в конечном счете — свое государство. Цэковская элита, напро-

тив, в погоне за деньгами разрушала советское государство, а следовательно, они и были подлинными антисоветчиками. Продали свою страну. Обменяли нефть на либеральную идеологию и получили за это проценты.

— **Кто же изобрел термин «застой»?**

— Михаил Горбачев. Ему надо было от чего-то отталкиваться, надо было сказать, что до него все было отвратительно и мерзко, и вот сейчас я вам принесу, так сказать, новый мир. И он его принес. За демократию выдавали свободу слова при одновременной его (слова) девальвации. Главный трюк Горбачева заключался в том, что его «гласность», то есть свобода поговорить, полностью исключала свободу дела. Время Горбачева — это время репетиловщины, общих слов и безответственных заявлений.

— **Это вы о «перестройке»?**

— Это самоназвание, и оно неточное. Точнее — постмодернизм. Я думаю, будут еще написаны отдельные исследования про М. С. Горбачева с этой точки зрения. В русской политике М. С. Горбачев был первым постмодернистом.

— **Интересное и неожиданное определение.**

— Вы знаете, я об этом давно думал. Вот буквальные цитаты: «Я вам отвечу по-горбачевски: вы знаете, что это будет сложнее, чем простой ответ». «Не это не главное». А знаменитое — «Ну, вы меня понимаете!» Не вопрос, а безапелляционное утверждение. При том, что он вообще не объяснял народу, что он делает со страной. Что это такое, как не чистый постмодернизм?

— **А что вы скажете о диссидентах 1970-х годов? Очень многие из тех, кто сегодня причисляет себя к государственной, идеологической, церковной оппозиции, с гордостью также именуют себя диссидентами. Как вы думаете: сегодня это понятие актуально? Оно имеет какой-то еще смысл, вес или устарело и его можно сбрасывать со счетов?**

— Диссидентство было очень разным. Например, были люди, в чьей собственности находились большие коллекции картин. Эти картины незаконно конфисковывали, и владельцы боролись за их возвращение. Их тоже сажали. Разумеется, сажали незаконно. Они освобождались и снова продолжали бороться за свое барахло. Их тоже называли диссидентами. Мы таких презирали. Это одна категория. Другая категория — люди, которые на диссидентстве зарабатывали деньги. Третья категория — те,

которые хотели уехать из СССР. Четвертая — те, которые реально сражались за свои идеи, абсолютные бессребреники, они жили в нищете, болезнях и погибали в лагерях. Этих нужно помнить.

— **Перечисленные вами категории существовали раздельно?**

— Нет, это был большой специфический мир — со своими амбициями, идейными спорами, интригами, героическими победами, предательствами, борьбой кланов и даже диссидентскими «династическими» браками. Немного воспоминаний, если позволите. В самом начале 1980-х годов в Москве проходил вернисаж Ильи Глазунова. В первый день выставки войти можно было только по специальным пригласительным билетам. Модный художник. Ажиотаж. Культурное событие богемной Москвы. Я ехал из Смоленска в Усурийск через Москву на свидание в лагерь, где отбывала срок «за православие» моя мама. Знакомая красавица-диссидентка отдала мне лишний пригласительный, и я ненароком угодил из смоленской грязи в московские князи. Страшный мороз. Долгая очередь во дворе. Порциями пропускали внутрь здания, где очо-ченевших гостей встречала супруга художника с очаровательным мальчиком в матроске, по-

хожим на цесаревича Алексея. Мальчик робел от обилия людей, прижимался к матери, обтягивая ее живот и ногу длинным роскошным платьем. Стильно. Полушепот. Атмосфера понимающей друг друга фронды. Пересекались три социальных слоя: цэковские жены и дочери (эти вне очереди), которые с отстраненным удивлением поглядывали на тех, кто в очереди. Затем богема (мелькали поэты-лауреаты в цветастых рубашках и капризные «опальные» кинематографисты в кирзовых сапогах, специально для которых Мосфильм закупал пленку Kodak) и московские диссиденты, бесшабашные, вольные, красивые, в синих джинсах и белоснежных шарфах. Три ипостаси советской элиты. Единый мир. Или клубок.

— **Ну а как картины-то?**

— Поверженные русские всадники, полоненные белокурые девы, иконы, пронзенные стрелами... В общем, политические намеки были прозрачны и санкционированы. Но я, случайный гость, ехал в реальную жизнь, и эти полотна казались мне тогда вычурными. Я вообще далек от политического китча Ильи Глазунова. Но зайдите в его галерею на Волхонке — там есть очень хорошие портреты, которые свидетельствуют о том, что это настоящий художник.

— **А сегодня, на ваш взгляд, существуют диссиденты?**

— Диссидентство — явление того времени, сегодня оно невозможно, мы живем в эпоху свободного политического самоопределения, когда разные персонажи могут выходить на улицы и высказываться сообразно своим мыслям или за плату. Неважно. Для диссидентства сегодня нет почвы.

— **Однако популярен тезис о том, что интеллигентный человек не может не быть сегодня диссидентом, потому что лояльность к власти притупляет мозг.**

— Знаете, это довольно забавная попытка выстроить зависимость между интеллектуальными способностями человека и его политическими предпочтениями: если у тебя предпочтения антивластные, ты — интеллигент, если провластные — ты тупой. Сама постановка вопроса смешная. Например, шахматист делает более или менее сильные ходы независимо от того, играет ли он белыми или черными. Интеллект не зависит от политических убеждений. Иное дело — моральный выбор. Но это другая проблема, и о ней обязательно нужно говорить.

— **Чего было больше в эпоху «застоя», плюсов или минусов?**

— Как посмотреть. К плюсам можно отнести то, что в это время социальное государство в СССР было завершено и превратилось в систему воспроизводства коммунитарности или, как я это называю, секулярной соборности. Русская советская армия достигла наилучшего состояния и поддерживала паритет с американцами. Укрепился интерес к собственной истории, традиции, появились писатели-деревенщики. А минус — разложение партийного аппарата и частично спецслужб. Официально публикуемая экономическая статистика все больше расходилась с экономической реальностью. Очевидный минус: попытка построить общество потребления на советский лад. Идеология к этому времени, перестав быть марксистской, не стала какой-то еще. Она зависла в пустоте. Возник идеологический вакуум, который длится до сих пор. Была сделана фундаментальная ошибка в экономике: Россия согласилась на роль периферийного придатка в мировом разделении труда. Это сопровождалось политической капитуляцией.

— **Что от того времени осталось сегодня, что ушло?**

— Ушло социальное государство, расцвет культуры, образования, науки. А вот минусы, присущие брежневской эпохе, есть и сейчас. Это сырьевая экономика, искусственно раздутое по-

требление, идеологический вакуум. Завершая разговор о «застое», я хотел бы процитировать первую строчку из лагерных мемуаров Татьяны Щипковой, моей покойной мамы: «Сейчас это время называют „застой“. А тогда это была просто жизнь».

Стыдливая интеллигенция

Какова роль интеллигенции в советской и постсоветской России? Почему она создала свою субкультуру с собственной религией, философией и литературой? Почему интеллигенция всегда говорила о свободе и демократии, но призывала власть к насилию и игнорировала собственный народ? Что случилось с интеллигенцией сегодня, можем ли мы с полной уверенностью констатировать смерть интеллигентского сословия?

— Мы слышим много разговоров о роли интеллигенции в XX веке. Что происходило с интеллигенцией, и как она влияла на развитие общества в советское время?

— Тема сложная и болезненная. Можно много рассказать о состоянии интеллигенции до 1917-го и после 1991-го, но советский период действительно особенный. Роль у интеллигенции в это время была двусмысленная.

— **Что именно вы под этим подразумеваете?**

— Советская власть, как известно, очень идеологична и интеллигенцию, так сказать, «подавливала». Интеллигенция находилась в некоторой фронде. Но вместе с тем государство очень нуждалось в ней, причем именно в такой — фрондирующей. Интеллигенция — это некий декор, химера на идеологическом здании. Без этих химер оно выглядело бы не таким красивым и завершенным. Роман интеллигенции с советской властью был долгим и страстным. Это тема будущих литературных произведений и научных диссертаций.

— **Что представляла собой советская интеллигенция?**

— Самая важная ее черта — мессианизм. Ощущение себя посредником между властью и народом.

— **То есть она отделяла себя от народа?**

— Разумеется. Она могла ходить в народ, поучать народ, но никогда не чувствовала себя его частью. Интеллигенция всегда мечтала командовать, всегда просила партию дать ей «поручить». Но в этом был определенный блеф. Рулить предполагалось так, чтобы не брать на себя

ответственности. Пусть кто-то рулит — какая-то власть, — а мы этим рулевым будем управлять как бы со стороны. Это еще одна черта интеллигенции — работать суфлером власти. Править, но не царствовать.

— **А что произошло с интеллигенцией в 1917 году?**

— В 1917 году интеллигенция дорвалась до власти. Рулила коротко, очень неэффективно и очень кроваво. После чего пришли люди с рабфаков, крестьянско-пролетарский призыв... Но «интеллигенция и революция» — это тема отдельного разговора, если сейчас углубимся, то увязнем.

— **Итак, это прослойка, которая пытается учить сразу и народ, и власть?**

— Причем прослойка довольно замкнутая — сообщество «рукопожатных». Интеллигенцию можно назвать особой субкультурой, потому что у нее были собственные ценности, не как у власти и не как у народа. У советской интеллигенции была своя идеология, ее выразителем был Андрей Дмитриевич Сахаров. Были свои «евангелисты», их было двое, и назывались они братья Стругацкие. Это религия советской интеллигенции — то, что они могли усвоить и что грело их душу. У интеллигенции был свой культовый

театр — «Таганка», особо чтимые писатели: Ильф и Петров, Бабель, Рыбаков, Трифонов, Окуджава... Субкультура интеллигентов базировалась на мифологии, которую они сами же создавали. Это неисчерпаемый материал для анализа. Остается лишь сожалеть, что об этом почти ничего не написано в строго научном жанре. Написано нечто иное.

— **Что же?**

— Воспоминания и рассуждения интеллигенции о самой себе. Это очень интересно, но это тоже материал для анализа, а не сам анализ. Мифологию нельзя описать изнутри, это не могут сделать сами ее носители. Нужен внешний, сторонний взгляд.

— **А сколько существует интеллигентских мифов?**

— Много. Но каталогизация — это дело ученых. Я назову основные. Миф первый — об оппозиционности. Это то, о чем мы уже начинали говорить.

— **Оппозиция Его Величества?**

— Вот именно. Его Величества, а не его Величеству.

— **Но при этом часто говорят, что в идейном отношении интеллигенция ставила себя выше власти. Дескать, мы знаем, как правильно, а вы не знаете.**

— Интеллигенция, объявляя себя оппозиционной, в то же время охотно шла на контакт с властью и стремилась заручиться ее поддержкой, если не сказать любовью. Дежурила под окнами, чтобы напомнить о своем безразличии, — вот такой французский роман. И власть, которой фрондирующая интеллигенция была нужна, периодически шла ей навстречу — брала в содержание. Интеллигенция приходила в неопишувмый восторг и называла этот период «оттепелью».

— **Оттепель сменялась временными заморозками...**

— Как только внутри властных структур возникало какое-то другое движение, другой вектор — власть отдаляла от себя интеллигенцию. Потом, преследуя новые политические цели, опять немного открывала клапан, добрела. Как правило, это выражалось в раздаче денег. Так и шла эта игра в «оттепель» и «заморозки», с подарками и всем остальным, что следует по жанру...

— **Но ведь, говоря об «оттепели», всегда напоминают прежде всего о свободах.**

— Свобода — одно из сакральных понятий либерализма. Но философами свободы часто как бы «упускается» тот факт, что всякая свобода — это возможности, а любые возможности приобретаются за счет возможностей кого-то другого. Пирог свободы не бесконечен, это не евангельские пять хлебов, которыми можно накормить всех. Равенство в свободе само по себе не возникнет.

— **Все свободны, но некоторые свободнее?**

— Именно. Причем намного свободнее. Так возникают привилегии. И хотя понятие «свобода» для интеллигенции священно, на самом деле это эвфемизм.

— **Что он означает?**

— Помните три священных слова французской революции — «свобода, равенство и братство»? Так вот «равенство и братство» нашей либеральной интеллигенцией забыты намертво. Но «свобода» — это священно. Свобода для себя, а не для остальных, разумеется. В российских условиях «свобода» интеллигенции — это право единолично влиять на власть. Отсюда возникло выражение «активная часть общества». То есть такая часть, которая сама себя наделяет правом делать выбор за других. Это уже не просто привилегия. Это нечто крайне далекое от демократии.

— **Как можно назвать это качество?**

— Очень просто: это авторитаризм. Один из любимых интеллигенцией бардов Александр Галич писал: «Не бойся сумы, не бойся тюрьмы, не бойся ни хлада, ни глада — а бойся единственно только того, кто скажет: „Я знаю, как надо“». Интеллигенция знала эти строчки наизусть, но только тем и занималась, что говорила: «Я знаю, как надо». И народу, и власти. Это очень узнаваемая ее черта: быть выше собственной проповеди, выше любых принципов. Отсюда и своеобразная интеллигентская культура ритуального стыда, когда стыдно бывает за кого-то — но только не за себя. Достоевский называл это «воплощенной укоризною».

— **Что же стало с интеллигенцией после Перестройки?**

— В то время некоторая часть интеллигенции получила доступ к медиаиндустрии, в официальном публичное пространство. Но именно часть — небольшая и статусная. А подавляющее большинство советских интеллигентов было просто выброшено за борт: их стали называть «бюджетниками». Так интеллигенция предала идею сословной солидарности. Любимая их песня «Возьмемся за руки, друзья!» лилась отовсюду, но когда дошло до дела, эти руки были очень быстро убраны. Меньшая часть сословия получила

свой кусок от пирога приватизации вместе с бывшей партноменклатурой. Получила «свободу», а собратьев по субкультуре оставила в беде, вытерла о них ноги. Я уже не говорю о ситуации начала 1990-х годов...

— **Что вы имеете в виду?**

— Знаменитое позорное «Письмо 42-х». Сегодня об этом не любят вспоминать. Это коллективное письмо было написано в 1993-м и адресовано власти. В нем «сливки» русской интеллигенции призывали уничтожить людей, которые исповедуют чуждую им идеологию. Они призвали пролить кровь. Письмо было подписано очень известными людьми: Ахмадулиной, Лихачевым, Рождественским, Окуджавой, Астафьевым и многими другими — всего 42 человека. Половина из них графоманы, а половина действительно чрезвычайно талантливые люди. И вот эти графоманы и талантливые люди собрались вместе призвать: убейте их! Чем это мировоззрение лучше мировоззрения запрещенного в России ИГИЛ? Принцип тот же.

— **Как они реагируют сейчас на ваши выводы?**

— Кто-то «прозрел», но большинство нет. «Ужас, что говорит Щипков!» — повторяют они

сейчас. Но факты вещь упрямая. Власть их тогда услышала. Они в очередной раз порулили — «показали, как надо». И кровь пролилась. Для меня в 1993 году интеллигенция умерла.

— **Сословие умерло, можно ставить памятник?**

— Вы опоздали... Он уже существует. В «нулевых» они умудрились сами себе поставить в Москве памятник возле центра А. Д. Сахарова — Пегаса, парящего над какими-то шипами. Памятник интеллигенции.

— **Какие еще мифы, помимо оппозиционности, вы имели в виду?**

— Еще один миф — о просветительстве. Интеллигенция ощущала себя просветителями в отсталой азиатской стране, наместниками цивилизации. Как англичане в Индии. И, естественно, народу это не нравилось. Люди нуждаются в просвещении с любовью, а не с презрением и похлопыванием по щекам. Эта фальшь чувствуется, обмануть невозможно. Поэтому их субкультура еще больше «закуклилась» в себе, ощетинилась, но продолжала выполнять некие «посреднические функции» между властью и народом, Западом и Россией. Хотя никто, повторю, не поручал им этим заниматься.

— **То есть, просвещение проводилось ошибочными методами?**

— Дело не только в методах. Чтобы просвещать, нужно какое-то основание. А чем занимались наши русские интеллигенты еще со времен П. Я. Чаадаева? Они брали идеи западных интеллектуалов, переводили их, перерисовывали, перетолковывали и пересказывали. Это был интеллектуальный секонд-хенд, вторичность. Там брали и тут перепродавали. Если интеллигенты претендуют на статус интеллектуалов, они должны выдавать оригинальную продукцию, должны творить, создавать свое. Но этого не происходило. Отсюда и известное понятие «образованщина», которым их наградила Солженицын.

— **Разве не было людей, которые все же выдавали оригинальную интеллектуальную продукцию?**

— Конечно, были. Иначе Россия в XX веке просто не выстояла бы. Но эти люди, с моей точки зрения, не были никакими интеллигентами. Они просто были русскими интеллектуалами, которые делали работу, а не занимались бесконечной фарцовкой, перепродажей идей. Коммунистическая идея — это перепродажа западной мысли, либеральная идея в 1990-е годы — перепродажа, сейчас идея модернизации

и «догоняющего развития» — перепродажа, идея инноваций вместо научного прогресса — снова перепродажа. Весь дискурс вторичен.

— **Препарируя феномен интеллигенции, что вы скажете о взаимоотношениях между ней и Церковью?**

— Советская власть не позволяла людям с высшим образованием становиться священниками. Ректор Ленинградских духовных школ епископ Выборгский Кирилл, нынешний Святейший Патриарх, с невероятным трудом принимал в семинарию моих друзей с высшим гуманитарным образованием. Он продавливал их зачисление в семинарию сквозь запреты уполномоченного по делам религий, который был сотрудником обкома коммунистической партии. Это было чрезвычайно сложно и рискованно. Но он понимал, что Церкви нужны интеллектуалы.

Однако тема «Церковь и интеллигенция» — это совсем о другом, о столкновении интеллигенции и Церкви. О менторском отношении интеллигентского сословия к православию, византийскому наследию, соборности. О соотношении религиозности и идеологии. Сегодня происходит борьба между секуляристским сознанием интеллигента и его тягой к воцерковлению. Когда побеждает первое — появляется «богословие майдана», еретическое учение о том, что политиче-

ская деятельность одухотворяет веру. Когда побеждает второе — человек воцерковляется и из интеллигента превращается в христианина.

— В этом довольно непросто разобраться, слишком много парадоксального в ваших словах.

— Разберемся с Божьей помощью. Уже выросло молодое поколение русских интеллектуалов, имена которых зазвучат через пять-десять лет. Им пока что перекрыты пути в «ваковские» журналы, в академическую среду. Но они создадут свои журналы и напишут свои монографии. Их мысль свободна как от либеральных, так и от коммунистических шаблонов. Они никуда не уехали и, судя по всему, всерьез собираются укреплять Россию.

Ирония и христианство

Допустима ли ирония в миссионерской деятельности Русской Православной Церкви? В чем отличия между юмором и иронией, юродством и шутовством? Где искать культурные истоки разных видов смеха, политические особенности ритуальной иронии, и какова ее роль в современных формах тоталитарности? Также попытаемся ответить на вопрос, поставленный Сергеем Аверинцевым, Михаилом Бахтиным и Умберто Эко: «Смеялся ли Христос?»

— Тему иронии в Церкви обычно не обсуждают, она кулуарно-неформальная. Но она присутствует в церковной жизни. По вашим наблюдениям, от иронии в Церкви скорее польза или вред?

— Вред. Тема роли иронии в политической и религиозной жизни действительно табуирова-

на — чуть позже объясню причину. Смех бывает разный. Важно его качество. Какой это смех, добрый или злой? Вот главное отличие.

— Есть ли у иронии миссионерский эффект? Не является ли она признаком того, что в Церкви также есть живые люди?

— У иронии не может быть миссионерского эффекта, поскольку она разделяет людей. В начале 1990-х постмодерн сделал попытку взойти на амвон. Московские и петербургские протодиаконны, протоиереи, иеромонахи начали активно использовать иронию в своей миссионерской деятельности. Они вошли в моду, у них появились эпигоны и по епархиям. Их проповеди, лекции, книги привлекали молодых и старых. Шокирующее переплетение сакрального и шутовского казалось смелым новаторством. Всеобщее удивленное внимание было воспринято ими как победа новой гомилетики. На долгое время они стали «витриной» Церкви и заполнили собой секулярные СМИ, которые охотно и со скрытой глумливостью над православием показывали «прикольных попов». Прошло тридцать лет. Виден результат. Рекрутированные ими неопиты, пришедшие на волне «ироничной» проповеди, либо давно схлынули, либо пополнили ряды либерал-православных ворчунов, сместившись из Церкви в соцсети. Политические

кривляния женщин на амвоне — вот символический итог их миссионерских усилий. А сами проповедники, работавшие в шутовских колпаках постмодернистской относительности, нынче замолчали и не могут признаться себе в том, что исказили свой священнический путь, и не могут теперь разобраться — где они истинные, а где их маска. Трагические судьбы.

— Юмор облегчает жизнь, разряжает обстановку. Когда после пасхальной или рождественской службы духовенство, прихожане садятся разговляться — они же не «Типикон» цитируют, а анекдоты рассказывают и радостно смеются.

— Именно. Сидят все вместе за одним столом. Их объединяет общая теплая радость, которая может сопровождаться весельем и смехом. Другое дело — ирония, холодное чувство, очень характерное, кстати, для периода Серебряного века. Оно обесценивает ценности.

— Значит, шутить и иронизировать — это разные вещи?

— Конечно. Шутка не может что-либо обесценивать. Она подчеркивает равенство, совместность, коммунальность, теплоту отношений. А «гражданская ирония» — это код доступа в

определенный избранный круг. Именно в него и стремились попасть наши церковные иронисты. А с другой стороны, ирония имеет конкретную цель — девальвацию ценностей, если они выходят за пределы рыночных цен, девальвацию самой идеи ценности. Священники-иронисты полностью проиграли. Сфера, в которую они вступили, разрушила их самих и превратила в циников.

— Но ведь ирония возникла не в XX веке, а вы ее описываете как современное, постмодернистское явление.

— Конечно, ирония возникла давно, практически одновременно с философией. Потом она менялась. Разные эпохи рождали разные виды иронии. Проще всего выделить три ее вида. Первая, философская, сократическая — это античный метод наводящих вопросов Сократа, который приводит оппонента к тому, что он начинает противоречить самому себе. Вторая, романтическая — это тоска по идеалу, в сравнении с которым все земное выглядит мелким и смешным. По существу, это не ирония, а грустный юмор, поскольку некая ложная ценность ниспровергается ради чего-то более высокого, подлинного. Это подчеркивает высшие ценности, а не девальвирует их. Третий вид — постмодернистская ирония, выросшая из Просвещения, она-

то как раз девальвирует ценности. Это не тоска по идеалу, а отрицание идеала. Она противоположна романтическому смеху, романтическому чувству. Сегодня доминирует третий тип иронии. Причем он уже стал частью идеологии.

— Каким образом?

— Дело в том, что, превращаясь в групповое явление — не всеобщее и не индивидуальное, а именно групповое, такая ирония делит людей на своих и чужих, рукопожатных и нерукопожатных, «продвинутых» и «быдло». Подчеркивает дистанцию. Эту секуляристскую практику можно назвать «социальным расизмом». Но сегрегация, разделение, отчуждение не совместимы с соборностью, а значит, и с церковностью. Напротив, Церковь призвана объединять людей, поскольку люди изначально равны перед Богом. Проникновение в Церковь иронии, которая подменяет юмор, — это явный признак секуляристского влияния. Но Церковь на то и Церковь, чтобы не быть секулярной.

— Вы считаете, такая ситуация с иронией ощутима сегодня в церковной среде?

— На мой взгляд, иммунитет Церкви по отношению к разделяющей, обесценивающей иронии сегодня ослаблен.

— В чем это проявляется?

— Например, известная книжка Майи Кучерской называется «Современный патерик». Хочется назвать его «Забавный патерик» — по аналогии с «Забавными евангелиями» Лео Таксиля, который превращал Писание в анекдот. Кучерская делает то же самое — Предание превращает в анекдот. «Один батюшка был людоед...» — кому-то нравится, многих отвращает. Это недобрый смех. Автор приглашает неверующих людей — давайте вместе посмеемся над Церковью. Посмотрите, какие смешные и забавные эти батюшки, матушки, семинаристы, прихожане... Это карикатура на святоотеческую традицию.

— Говорят, что проза Михаила Ардова, Майи Кучерской и похожих авторов продолжает традиции юродства. Вы с этим не согласны?

— Не согласен. Юродство — средневековое явление, а «гражданская ирония» — продукт модерна и его радикальной формы — постмодерна. В какой-то мере, опосредованно это может быть связано с шутством, но точно не с юродством.

— В чем для вас заключается разница?

— Юродивый «по жанру» должен заниматься самоуничижением. Благодаря этому самоуничижению смех юродивого не ведет к персональному возвышению, не возбуждает гордыню. Это религиозное обличение, а не светское поучение, это называлось «ругаться миру». Такое «поругание» осуществлялось не с позиций светского здравого смысла, а «Христа ради». Совсем иное дело — шут. Он не обличает, а поучает и осмеивает, это хорошо видно уже в образах шекспировских шутков. У юродивого нет и не может быть социального статуса, а у шута есть — вспомните хотя бы Аркадия Райкина, прочно входившего в советский истеблишмент. Шут куда больший прагматик, чем забавляющиеся им господа. Это секулярная фигура. Вот и проза Кучерской и Ардова, несмотря на религиозную тематику, по духу намного ближе секуляристской публике, с которой ценностная общность у этих авторов выше, чем с единоверцами. Свой литературный талант они направили в эту сторону.

— А если взять Гоголя и его «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Гоголь ведь православный писатель. Но при этом у него такой тонкий юмор и карикатуры на пограничные темы.

— Да, конечно. Это юмор, а не ирония. Гоголь, особенно ранний, периода «Вечеров» — очень

теплый. Это романтический тип смеха, отчасти и карнавальный. Но Гоголю и его герою — «не все равно». А в поле иронии человеку «все равно». Ирония не просто игра, это игра, за которой — пустота. Человеческая душа не терпит пустоты. Ощущение пустоты — главная причина столь распространенных нынче депрессии и уныния. Помните, какой ужас наступает героиню уэллсовского романа, когда Человек-невидимка срывает с лица бинты, а за ними — не гримаса, не оскал, а пустота.

— Для кого-то понятие «смех» шире юмора и иронии вместе взятых. И это одна из центральных тем романа «Имя розы». Монахи спорят, смеялся ли Христос. Вильгельм говорит: «По-моему, он (Христос) остроумно шутил, чтоб смутить грешников и ободрить приспешников». Он защищает смех, ибо тот «обучает людей: иногда — посредством остроумных загадок и неожиданных метафор». А его оппонент Хорхе говорит, что смех — «это слабость, гнилость, распущенность нашей плоти... вещь близящая к смерти и к телесному разложению». И настаивает: «Иоанном Златоустом сказано, что Христос никогда не смеялся!» Вы бы в этом споре чью сторону заняли?

— Проблема, которую обсуждают средневековые герои Умберто Эко, намного шире пери-

петий самого романа, поскольку существовала и до его написания. Здесь я сошлюсь на мнение Сергея Аверинцева, который в известном споре с Михаилом Бахтиным утверждал, что Христос мог шутить, но не мог смеяться, поскольку смех рефлекторен и человек в этом состоянии не свободен. В статье «Бахтин, смех, христианская культура» он подчеркивает: идея о том, что «смех освобождает», уже говорит о несвободе субъекта. Поскольку свободный не нуждается в «освобождении» (он ведь уже свободен). Кроме того, смех действует на всех одинаково, он стирает индивидуальность. Смех апеллирует к рефлексам, непроизвольным нервным реакциям, когда «невозможно остановиться». Какая же это свобода, если — «невозможно».

— Фильм Николая Достая «Монах и бес» обожается в православной среде. Залы, полные духовенства и церковных работников, радостно смеются. Образы священников показаны беззлобно, даже с любовью. Что вы думаете об этом?

— Любопытно наблюдать за личными религиозными поисками Достая, которого разрывает между тягой к традиции (он снимал фильм про староверов) и тягой к постмодерну. Любовь монаха и беса, а это главная тема фильма, — абсурдная ситуация для христианина.

Перевоспитание беса — догматически неверный, невозможный мотив. Такой сценарный поворот в чем-то закономерен, поскольку талант писателя Юрия Арабова, который придумал этот сюжет, неразрывен с постмодернизмом. Но для церковного человека естественен другой взгляд. На что «клюет» духовенство и почему Арабов так легко им овладевает — тема, которая требует обдумывания.

— Василий Аксенов в свое время пустил в ход хорошо прижившееся выражение «звериная серьезность» — тупой ограниченный пафос, свойственный тоталитарному мышлению. Разве звериная серьезность — лучшая альтернатива иронии? Ведь, действительно, в Церкви есть примеры кондовости, формализма, фанатизма, которые отпугивают людей.

— Культ иронии означает, что ничто в мире нельзя воспринимать серьезно, кроме самой иронии. Мысль о звериной серьезности впервые сформулировал, конечно, не Аксенов, а немецкие романтики. Они таким образом защищались от бюрократии и меркантилизма. Аксенов повторил идею с опозданием на полтора века, и, будучи «городским» писателем, направил ее одновременно против коммунистов и «деревенщиков». Аксенов воспринимал иронию как инструмент

борьбы с тоталитаризмом. Но мировые тоталитарные практики ушли далеко вперед. «Звериная серьезность» свойственна сегодня как раз ироническому дискурсу. Поскольку ирония эта холодная и навязанная, даже навязчивая. Ирония по договоренности, своего рода ритуал. И именно поэтому тема «гражданской иронии» как политического инструмента сегодня табуирована, вы не найдете ее критического обсуждения в социальных сетях.

— Какой вывод вы из этого делаете?

— Я бы сказал, что *ритуальная ирония* постмодерна (когда не иронизировать нехорошо, непозволительно) и *ритуальный стыд* (когда стыдно не за себя, а за оппонента) — два ярких признака именно сегодняшней тоталитарности. Собственно, и антитоталитарный дискурс нам навязывается тоталитарными методами, с которыми ирония вполне совместима. Ирония идеологична и тоталитарна. Именно поэтому она все время заговаривает о тоталитарности — чтобы на нее «не подумали», по принципу «держи вора».

— Зачем это нужно?

— Затем, что в наше время тоталитарные проекты гораздо проще осуществить в игровом

режиме. Ирония придает тоталитарности игровой характер. Ты словно сидишь в кинотеатре, наблюдаешь за собой со стороны и не замечаешь, что тобой управляют. Теряешь способность ощущать радость духовной и интеллектуальной свободы — то, что дает человеку только христианство.

— На телевидении много юмористических передач разного качества, часто грубоватых и простецких. Это не тот же бахтинский карнавал, только на телеэкране?

— Что до бахтинской карнавальности, она имеет очень древние, языческие, ритуальные корни. Только ритуал этот не групповой, а всеобщий — в том смысле, что он так описан бахтинистами и так воспринимается. Не юмор и не ирония, а третий тип смеха. Реликтовый. Но я не уверен, что в сегодняшней социальной жизни он реально существует и что мы не толкуем Бахтина поверхностно. Карнавальный смех по-своему амбивалентен, но не в сторону вечной постмодернистской теплохладности. Этот смех как пламя для выплавки металла: выжигает пустую породу, уничижает и снова возвышает. Может быть, в юродстве есть отголоски такого смеха — здесь надо спросить культурологов. Но как бы там ни было, нам, христианам, проще — ведь мы знаем о двойственности мно-

гих проявлений человеческой жизни. Поэтому и к смеху мы можем отнестись очень просто: хороший смех хорош, а плохой — плох. К такому взгляду я и призываю.

Гламур и диктатура богемы

Что такое гламур и какова его роль в современной культуре, как гламур проникнет в политику и религию, как гламур связан с языческой магией, почему гламур называют «инструментом Антихриста», что такое потребление знаков вместо вещей и как гламурное сознание способствует социальному расслоению? Совместимы ли театр и церковь, лицедейство и священство? Возможна ли проповедь с подмостков и с экрана? Способен ли обратившийся ко Христу человек превратить свое обращение в ток-шоу на продажу? Какое место занимает православный гламур в диктаторских практиках части современной богемы?

— **Насколько сегодня актуальна тема гламура?**

— Гламур — одна из главных категорий современной культуры, но очень плохо исследованная, несмотря на ее несомненную актуаль-

ность. Гламур входит в перечень табуированных тем. В 1990-е определять повестку дня в стране стали потребности «менеджеров» — менеджеров. Для этого привилегированного слоя издавали журналы, книги, выпускали фильмы. Данная особенность резала глаза и была даже более характерной для России, чем для Запада. Гламур стал дискурсом меньшинства, навязанным большинству.

— **Что означает гламур как понятие?**

— Формально «гламур» означает «чарующий», «волшебный». В каком-то смысле это синоним «глянца», но значение намного шире. Это «прелестные картинки», увлекающие зрителя и помрачающие его сознание. По сути — декор пустоты. Интересно, что в мифологии позднего модерн гламур стоит вне прогресса, не подчиняется этой центральной мифологеме либерализма. Гламур статичен. У него нет динамики, он воспроизводит только сам себя.

— **Где его больше всего?**

— В шоу-бизнесе и на телевидении. Корифеем отечественного телегламура безусловно — Леонид Парфенов. На его фоне померкли и Листьев, и Познер, и многие другие создатели телегламура. Он много работал с русской историей, создавая своего рода «муляжи времени». Исторические

реалии, но под слоем помады. Нынешний телеграмур до сих пор наполнен дыханием своего основоположника.

— А есть ли гламур в политике?

— Гламур заполняет все пространство, включая политику. Политики, которые в 1990-е были законодателями моды на политический гламур, ушли в мир иной. Они были заметны, но не обладали достаточным интеллектуальным и образовательным багажом и олицетворяли собой облегченный вариант «сливок общества», то есть поверхностную часть. На глубинном уровне сплавом гламура и политики занимались, например, Сергей Курехин, Тимур Новиков и ряд ныне живущих деятелей русской культуры. Определить, кто из нынешних политиков гламурен, а кто нет, достаточно просто: по отношению к народу. Для гламура народ — это грязь, скверна, об него боятся «замараться», «заразиться». Когда случилась трагедия в Кемерово, рукопожатная гламурная публика мгновенно выдала в Сети: «Эти бесформенные тетки-билетерши, что заперли двери в кинозалы, — такие же, как и те, кто сгорел», «это они, считайте, сами себя сожгли...», «народ сам виноват». А того, кто обращается напрямую к народу, либеральная публика боится и отторгает от себя, вооружаясь обвинениями «в популизме». Это означает, что он не гламурен, что он разрушает волшебство глянца. Путинское «выть хочет»

ся» или душераздирающий кемеровский разговор патриарха Кирилла о смерти ребенка — примеры обрушения идеологии гламура.

— А в Церкви гламур существует?

— К сожалению, да. Прежде всего, гламурность характерна для так называемых либерал-православных, которые тащат в Церковь элементы секуляристской идеологии, эрзац-религиозность. Происходит смешение, возникает «майданное богословие», мифология «волонтерства» и проч. Гимн креативному классу, превосходство над «серыми ватниками» облакаются в новозаветную, библейскую символику. Слово Божье, открытое всему миру, подменяется социальной эзотерикой, знанием для избранных. Все это живет за плотной завесой светско-рождественских мероприятий, фестивальных спецэффектов, материалов из серии «Как наши звезды встречались со старцами» и прочей мишуры. Гламурная религиозность зарождалась в конце 1990-х как проповедь для богатых, но быстро начала превращаться в особый стиль потребления «религиозных услуг».

— Что такое гламур с христианской точки зрения?

— Прелесть. Прельщение. Это подмена правды Христовой чем-то убедительным, эффект-

ным, но лживым. Антихрист — вот кто по-настоящему гламурен. Потому что он не просто против Христа, а вместо Христа. Гламур — это всегда подмена. В этом смысле гламур — инструмент Антихриста. Так что тем, кто занимается производством церковных глянцевого изданий, программ, проектов, нужно постоянно об этом помнить.

— **Православный глянец развивается?**

— Пик пришелся на нулевые годы. Сейчас этот процесс забуксовал. Многие в Церкви его не принимают. Он предназначался для «успешных», был рассчитан одновременно и на проповедь, и на коммерческий эффект. А это вещи несочетаемые. Задача православного глянца заключалась в том, чтобы показать богатым доброту и милость Христа, но не показывать ужас Его смерти. Чтобы не пугать их бывшей красотой, которая нынче лежит во гробе «безобразна, безславна, не имущая вида», как поется у нас на отпевании. Вместо православия — эрцаз-православие. Это яркий пример разрушительного действия гламура в Церкви.

— **Какие ощущения дает гламур человеку? Чем он так притягателен?**

— Многие не умеют получать радость на глубинном уровне и заменяют ее знаками ка-

чества, «сертификатом культурного соответствия». Радость — это ведь не веселье, это особое состояние покоя и уверенности в любви. Гламур же — это как бы пропуск в несуществующий земной рай, который надо заслужить, приняв «правильную» идеологию, заняв место на «правильной стороне истории». Дается это, разумеется, не даром. Такой путь требует каких-то жертв. Например, нужно отвергнуть всех «негламурных», отвернуться от них, поменять круг знакомств. Необходимо провести в себе непреодолимую грань, оставив на другой, «дурной» стороне реальности всякое-разное «быдло» и «совков». Называть Россию, как Ксения Собчак, страной генетического отребья, называть своих сограждан злобными людьми и дебилами, как Макаревич или Серебряков. И вот у них все есть — и слава, и деньги, а радости нет.

— **Вы полагаете, что гламурные люди склонны скатываться к социал-расизму?**

— Такова природа этого явления. Гламур — элемент разделенного общества. Он несет с собой языческий взгляд на мир, который противоречит христианской истине: мы оскверняем не тем, что видим и слышим, а тем, что выходит из уст наших. Приверженность гламуру — это недоверие к первоначальному миру, к Богу, превращение себя в «маленького бога». А недоверие

к миру заставляет презирать людей, тяготиться их присутствием, валить вину с виновных на их жертв.

— Какая эмоция соответствует гламуру?

— Страх. Подспудный, подавленный. Адепт гламура, как правило, боится обыденности и неуспешности, а на самом деле — реальности. Гламур психологически отгораживает от бренного мира. Это род эскапизма, бегства от реальности.

— А что есть гламур с философской точки зрения?

— Идея гламура отсылает к языческой магии. Как и магия, гламур противостоит реальной истории вещей. Он этой историей питается, похищает ее, оставляя вместо содержания «многозначительную», но пустую форму, иллюзию подлинности. Гламур — это смещенное чувство реальности. Гламур есть имитация. Принцип имитации реализуется так: содержание явления, история вещи подменяются образом «совершенной» гламурной формы. Образ гипнотизирует. Вещь вырывается из мира и начинает играть роль зеркала Истины. Внимание адепта гламурного культа останавливается на ней — и всякая умственная работа, всякая рефлексия прекращается. Он готов созерцать это

бесконечно, как Кай у Андерсена готов был до конца своих дней складывать из льдинок слово «Вечность».

— А в искусстве?

— Гламур уничтожает современное искусство, он вытравливает содержание и предлагает пустые никчемные эксперименты с формой. Тому свидетельство — бесконечные «гаражи» и «винзаводы». Сейчас начался процесс поглощения гламуром русской иконописи. Этим направлением активно интересуются и занимаются католики.

— Каковы исторические корни гламура?

— Есть два типа восприятия культуры: как «возделывание земли» и как «украшение себя». Гламур восходит ко второй из них, которая более характерна для обществ с сильными магическими корнями. «Украшение себя» — это «холодная» культура, она созвучна сегодняшнему трансгуманизму и другим идеологиям позднего модерна. В основе здесь лежит желание воспринимать вещи не такими, каковы они есть, а видеть в обладании ими атрибут иной, лучшей реальности и подтверждение своего статуса, своей «полноценности», своего превосходства.

— Каковы его функции в культуре?

— Их несколько. Во-первых, гламур используется для самоидентификации, по гламурным кодам узнают своих. Получается «культура в культуре», секта. Во-вторых, подобно любой страсти и зависимости, гламур служит для заполнения экзистенциальной пустоты, помогает уйти от вопроса «Зачем я живу?». Гламур, подобно игромании, наркомании, фанатизму заполняет место истинной веры. В-третьих, гламур используется для выстраивания моделей статусного потребления. Об этом подробно написано у Жана Бодрийера в таких работах, как «Политэкономия знака», «Символический обмен и смерть». Гламурное потребление — это игра в означивание. Главный фокус в том, что гламурный человек потребляет не столько сами вещи, сколько знаки. Он платит не за вещь, а за статус, удостоверяемый наличием у него этой вещи, — поэтому она работает как знак. А статус вещи в свою очередь удостоверяется специальным клеймом, лейблом. Такой человек (жертва идеологии гламура) не только встречает другого по одежке, но и провожает. Он не замечает, что форма для него стала содержанием. А это уже серьезная болезнь личности.

— Ради чего человек стремится к гламуру? Что его притягивает?

— Ради приобщения к другому, «лучшему» миру. Гламур отсылает к воображаемой реаль-

ности, якобы превосходящей объективную, — к так называемой гиперреальности. А на деле — к симулякрам, мнимой сущности. Если для простоты использовать марксистские понятия, можно сказать, что в такой культуре надстройка полностью определяет базис, а сама гламурная жизнь подчинена логике не товарного, а символического обмена, по принципу «символ—деньги—символ», вместо обычного «товар—деньги—товар». Соответственно продажей символов занимается тот, кто имеет символическую власть — контроль над умами, возможность навязать свой набор символов. Эта власть обеспечивает символический обмен и им же поддерживается, вырабатывая все новые символические ресурсы. Эта власть управляет другими с помощью идеологии гламура.

— Насколько гламур опасен?

— Вспомните античный образ Горгоны. Горгоне нельзя было смотреть прямо в глаза, чтобы не окаменеть. Персей сражался с Горгоной, глядя в зеркало своего щита, — и победил. Вот так и гламур. Он гипнотизирует, подчиняет себе, останавливает мысли. Но его можно обезвредить, если знать, как правильно о нем говорить. Поэтому важнейший вопрос — это вопрос о том, каким должен быть наш «дискурс о гламура». Он, этот дискурс, должен уметь переводить «туда и обратно», показывая, как гламур подменяет ре-

альность симулякром. Гламурное сознание делит весь мир на первый сорт и последний. Не только вещи — людей, природу, исторические эпохи, религии.

— **Религии? Разве это возможно?**

— Именно. Помните, кто был первым «гламурным» персонажем в русской истории? Конечно, Петр Чаадаев. Он утверждал, что Россия сделала неправильный выбор — оказалась «не на той стороне истории», говоря сегодняшним языком. Мол, надо было князю Владимиру папских слов уважить и принять католичество. Но князь Владимир сделал не гламурный выбор. И вот теперь этот выбор якобы мешает России «цивилизаторству» по единственно верным стандартам.

— **Вы упомянули о том, что эпоха расцвета гламура у нас в стране была связана с культурой менеджеров. Сейчас это уже не так?**

— Сегодня гламур как переходящий вымпел ударника соцсоревнования достался креативному классу — более противоречивой общности, которая любит помайданить. Но «менеджерское» влияние сказывается до сих пор. Это особенно ощутимо, когда управленцы выдвигают лозунг цифровизации всей страны. Цифровизировать предлагается буквально все: правительство, экономику, образование, культуру, религию,

граждан, личные данные людей. А также, соответственно, коррупцию, недофинансированную экономику, вывоз капитала — все, что есть. Главное — цифровизация. Что это как не доминирование формы над содержанием? А приоритет формы — и есть самый главный принцип гламура.

Будем надеяться, что идеологам гламура не дадут реализовать их главную мечту — цифровизировать армию и флот и поставить тем самым точку в истории России. Кстати, в свое время «форма от Юдашкина» стала одним из шагов в сторону гламуризации армии.

— **Что можно противопоставить гламуру?**

— Только то, что выше всего в ценностной системе. Это Бог, любовь, милосердие. «Положить жизнь за други своя» вместо «умри ты сегодня, а я завтра». Гламуру противостоят устойчивая система ценностей и чувство реальности. Наилучшим образом они соединены в религии, но существуют и в других комбинациях. Это разрушает «чары» гламура. Это возвращает народу возможность самостоятельно решать свою судьбу, судьбу своих детей, судьбу своей страны.

— **Актеры любят повторять фразу о том, что только в церкви и в театре «служат», а в остальных местах — «работают». Не означает ли это, что на актере, как и на священни-**

ке, лежит особая миссия и ответственность за воспитание и духовное развитие народа?

— Это очень милое архаичное словоупотребление, сохранившееся до наших дней в отдельных областях деятельности. Не более того. Служат еще в силовых структурах, в госорганах. Но служба и служение — разные понятия, не стоит их путать.

— Сегодня постоянно приглашают актеров и режиссеров в телешоу делиться своим религиозным опытом. Где кончается актерство и начинается жизнь и вера?

— Впервые я столкнулся с этой проблемой, когда был ведущим радиопрограммы «Во что верит Россия» на ВГТРК. Мне довелось беседовать с Евгением Алексеевичем Лебедевым, выдающимся русским актером, мастером перевоплощения. Это случилось незадолго до его кончины в 1997 году. Мы говорили о театре, о его ролях. У него была особенная манера речи — быстрая, дробная, скороговоркой. Он сыпал именами, датами, цитатами из ролей, жестикулировал. Одним словом — актерствовал передо мной. И вдруг неожиданно начал полуразборчиво, с пропусками слов, произносить тексты из Литургии, перемешивая «Херувимскую», «Милость мира», обрывки ектений... Искаженные тексты высыпались

из каких-то глубин его памяти. Он был очень взволнован. Актерство внезапно исчезло. Начал рассказывать о том, что его отец был то ли дьяконом, то ли священником. В силу жизненных обстоятельств Евгений Алексеевич ушел от него, вырос неверующим. Стал актером. Играл на сцене Сталина. Выжил. Отца расстреляли. А спустя полвека старый актер бормотал литургические тексты как абракадабру и признавался мне, что совершенно не понимает их смысла. Но эти тексты были связаны с памятью об отце, перед которым он явно чувствовал вину. Огромный актер, состоявшийся в профессии, и одновременно глубоко опустошенный человек.

— Но все же это была другая эпоха. Сегодня нет ни запретов, ни гонений. Совмещение религии и актерской профессии приветствуется. Валерия Гай Германика это великолепно демонстрировала, выступая в роли «пастыря» в православном миссионерском интернет-проекте «Вера в большом городе».

— Этот проект был построен авторами на контрадикции. В качестве ведущей пригласили кинорежиссера со сложившейся профессиональной репутацией и образом жизни, который не совпадает с обыденным представлением о том, каким должен быть православный стиль поведения. Это подтверждает название проекта — прямая перекличка с американским проектом

«Секс в большом городе». Задача — привлечь внимание публики сочетанием несочетаемого. Православие, мол, так же притягательно, как секс. Занимайтесь православием. Смотрите, кликайте, ставьте лайки, воцерковляйтесь. Вас ждет успех в жизни. Это — очередной образец «православного» гламура.

— Разве возможно искусственно менять религиозную эстетику?

— В 1930-е годы XX века в Германии активно меняли эстетику и стилистику христианской жизни. Посмотрите на их церковное искусство того времени — Христос изображается как атлет. Мощный, красивый, мускулистый, непобедимый, как сама Германия. Православный гламур, одним из винтиков которого является названная вами программа, создает собственный специфический образ церкви. Это церковь для успешных людей, церковь для миддл-класса. Соответственно церковность, с их точки зрения, должна быть выдержана в той стилистике, которая принята в этой среде: в ней должно быть место для иронии, раскрепощенности (отсюда аллюзии с сексом), карнавальности и главное — для постоянного сомнения. Участник этой игры «в православие» должен находиться в постоянном сомнении. Быть сомневающимся — это стильно и одновременно освобождает от ответственности. Как раз то, что нужно современному состо-

ятельному человеку. Слоган Станиславского «Не верю!» стал их девизом.

— Говоря о профессиональной репутации Валерии Германики, вы имеете в виду ее скандальный сериал «Школа»?

— Сериал «Школа» — это смакование детского греха. Более того, автор зарабатывал деньги на этом смаковании. В экзистенциальном смысле это ничем не отличается от детской порнографии. Этот фильм возвращает зрителя — и подростка, и взрослого.

— То есть вы не верите в религиозную искренность Германики, в возможность ее духовного изменения, раскаяния?

— Христос, разумеется, открыт каждому. Но из покаяния не делают ток-шоу на продажу. На покаянии не зарабатывают деньги и славу.

— Однако подобные проекты обещают человеку заполнить пустоту внутри себя.

— В культуре постмодерна христианству отведена заместительная функция. Не спасительная, а заместительная. Это так называемая «викарная религиозность». Именно это и демонстрируют ведущая в роли духовника и ее гости в роли духовных чад.

— Пародия на исповедь?

— В общем, да. К православию это не имеет никакого отношения. Это обычный третьесортный кухонный психоанализ. Кто такой духовник? Это тот человек, который имеет религиозный опыт и с твоего добровольного согласия помогает тебе укрепляться в вере и поступках, определяемых твоей верой. Вера передается от более опытного к менее опытному. Иначе не бывает. Когда актеры, у которых нет религиозного опыта, начинают вещать с экранов, — они не помогают, а разрушают. Религиозный опыт — вещь таинственная, не надо его вытаскивать на люди ради забавы или, тем более, заработка, его надо беречь.

— Вы хотите сказать, что веру можно эксплуатировать в корыстных интересах?

— Это не в прямом смысле зарабатывание денег на эксплуатации религии. Просто используют ресурс церкви, ресурс православия для создания своих образов, реализации медийных и творческих проектов. Самый трагический пример — Иван Охлобыстин. Он в своем духовном «артпроекте» добрал до логического конца — взял в руки реальный, а не бутафорский антиминос, а потом бросил его. Охлобыстин — это человек-проект. Как и Германика.

— И как можно назвать их метод?

— Православный гламур. Это один из способов утвердить диктатуру богемы над обществом. Для каждой части общества — свой подход. Говоря коротко: православный гламур — это попытка монетизировать православие. Точно так же сегодня разные художественные союзы пытаются монетизировать русский консерватизм. Православие и консерватизм в тренде — значит, есть покупатель. А если есть покупатель, то почему не заняться бизнесом? И порой уже трудно понять: где же грань, где переходная линия? Где подлинный консерватизм русского народа, а где подделка, монетизированная оборотистыми шоуменами? Где подлинное православие, а где только его форма, оболочка? Но ведь мы это явление видим и понимаем, что происходит.

— Вы говорите, что православный гламур создает церковь для богатых. Но ведь церковь действительно для всех — и бедных, и богатых.

— Православный гламур искажает православие. Говорят об Иисусе Христе как волонтере, который ходил и бесплатно всем помогал. При этом совершенно не говорят об основной составляющей — самопожертвовании Христа. Богатым людям предлагается оставить за скобками

ми ту часть Евангелия, которая говорит о страшных физических страданиях Христа. О крови, поте, растерзанном теле. Ведь это как-то негламурненько выглядит.

Православный гламур обещает научить тому, как, оставаясь богатым, умудриться пролезть сквозь игольное ушко в царство небесное, причем со всеми своими виллами, яхтами, деривативами и офшорами. Потребитель такой «православной услуги» существует — вот рынок и включается. Только все это к христианству не имеет никакого отношения.

— Но ведь актер может создать положительный образ священника, старца...

— Кто такой актер? Это копиист, человек, который копирует других. Но он только копирует, он ничего не может произвести. И сегодня эти копиисты пытаются учить нас политике, религии, семейной жизни. Навязывать свои стандарты мысли. Их духовный и интеллектуальный багаж состоит из их ролей. Уровень порой невысок. И этими говорящими оракулами заполнен сегодня эфир всех каналов. Так выглядит диктатура богемы.

— Вы вообще против театра?

— Я против подделки, против гламура. Русский театр сегодня в удручающем состоянии,

но есть и светлые примеры. Тот же Александр Коршунов с театром «Сфера». Все зависит от нравственной цели, которую ставит перед собой театр в целом или актер в частности.

Либерал-православие

О либерал-православной субкультуре и политическом феномене «церкви в Церкви». Об идее секулярной реформации в России и ее связи с постмодернистскими практиками. О структурировании либерал-православной субкультуры.

— Несколько лет назад вы ввели в оборот новый термин «либерал-православие». Вы давно изучаете этот феномен?

— Давно. Но поскольку сегодня формирование либерал-православной российской субкультуры завершено, я думаю, настало время заняться ее системным социокультурным описанием. Описать точно так же, как описывают другие субкультуры и малые социальные группы.

— Тогда стоит начать с определения.

— Либерал-православные — это особая группа внутри и около Церкви. Интеллигентская ква-

зицерковь, по существу — «церковь» в Церкви. Они ведут себя не как члены Церкви, а как ее наставники, как люди, обладающие специфическим тайным знанием. Я их называю «теньвыми пастырями». Их проповедь — это мировоззренческий гибрид. Стилистика и внешняя форма православные, а содержание постмодернистское. Это симулякр в его классическом проявлении. Принципом конструирования этого мировоззрения стал хорошо известный постмодернистский прием «пастиш»: имитация стиля оригинала с целью оспорить статус этого оригинала.

— Почему сегодня тема либерал-православия вышла на первый план?

— Это закономерный процесс. Нынешняя религиозно-политическая ситуация характеризуется важным обстоятельством: завершилось формирование либерал-православной субкультуры. Процесс вызревания этого направления шел медленно. Его идеология проговаривалась последние пятьдесят-шестьдесят лет и сейчас пришла к завершению.

— Но почему процесс завершился именно сейчас?

— Потому что его весьма энергично подтолкнул снаружи Константинопольский патриархат. Представители направления не смогли

больше сохранять свой излюбленный полулегитимный статус, так как Константинопольский патриарх Варфоломей своими действиями на Украине вынудил их прямо определить свою политическую и религиозную позицию. Они открыто поддержали Константинопольский раскол и выступили на стороне раскольника-модерниста. Это и стало окончательным оформлением их идеологии.

— Вы утверждаете, что этот слой пытается формировать «церковь в Церкви». Какова цель?

— Это одно из проявлений специфической ментальности интеллигенции. После эпохи нарядовольчества она становилась все более компрадорской, противопоставляла себя народу, манипулировала властью в собственных, а не в общественных интересах. Ее представители рассматривают себя как наместников западной цивилизации в стране дикарей. Любое социальное пространство, включая церковное, в их понимании подлежит освоению ради групповых интересов, нужды «аборигенов» ничего не значат. При этом сектантское сознание либерального слоя с его глобалистскими и западническими фетишами по-своему очень религиозно. Сегодня произошло столкновение двух разных религий — исторической и модернистской.

— С какого времени, по вашему мнению, внутри Церкви существует либеральная группа?

— Эта группа зародилась на московских, ленинградских и киевских кухнях в 1960-е годы. Напомню, что интеллигенция тогда получила заметные послабления и назвала этот период «оттепелью». А для нас это был период жестких гонений. Хрущев активизировал борьбу с православием, сотни храмов были закрыты и разрушены, тысячи православных отправлены в концлагеря. В ответ возникло и начало структурироваться православное подполье. Причем одновременно по двум направлениям: почвенническому и правозащитному. Православные правозащитники начали отделять себя от Церкви и критиковать за отсутствие твердой политической позиции. Тогда впервые начали использовать прием «открытых писем» патриархам. Сначала Алексею (Симанскому), позже — Пимену (Извекову). В 1980-е годы произошел определенный поворот. Церковные либералы уже не шли на лобовое столкновение с епископатом, но стремились перестроить Церковь изнутри — под себя, под свою повестку. Это состояние сохранялось до самого последнего времени. Фанар, как я уже сказал, обострил ситуацию, заставив либерал-православных резко радикализироваться.

— **Насколько они многочисленны и влиятельны?**

— Численностью невелики, но влиятельны, поскольку используют силу внешнего секулярного ресурса. Влияние это и при советской власти было довольно ощутимым. Возьмем для примера историю, которая произошла в 1971 году. После кончины патриарха Алексия Первого стоял вопрос о выборах нового патриарха. Тогда либерал-православная группа составила и распространила по церковным кругам текст, в котором обвиняла митрополита Никодима (Ротова) в «ересях». По существу вопроса рассуждения о ересь не выдерживали никакой критики, но письмо ввело в смущение и епископат, и церковную общественность. Митрополит Никодим не стал выставлять свою кандидатуру на патриарший престол. Полагаю, что это и было главной целью его авторов. До сих пор не ясно — действовали они самостоятельно или их использовали советские органы.

— **Сейчас либерал-православные, напротив, в отношении Константинополя призывают как можно осторожнее обращаться с понятием «ересь».**

— Разумеется, поскольку это противоречит их нынешним интересам. Они пытаются спасти богословскую репутацию патриарха Варфоломея,

которая заметно пошатнулась. Вообще история русской Церкви XX века по-настоящему еще не написана, это дело будущего. Но каждая эпоха имеет свою повестку. Возьмем 2012 год. Новое поколение либерал-православных, новые люди...

— **Чего они хотели в 2012-м?**

— Они требовали от Церкви поддержать Болотную площадь. Это требование прямо так и формулировалось: поддержите Болотную — и мы перестанем вас шельмовать. Тогда Церковь не позволила втянуть себя в политические игры. Но поскольку либеральный ультиматум был отвергнут, Церкви объявили информационную войну, завершившуюся женскими кривляньями на амвоне. Точно так же на Украине не удалось вывести на майдан Украинскую православную церковь Московского патриархата. А Киевский патриархат вышел вместе с УАПЦ и униатами.

— **Так какова была их цель?**

В соответствии с либеральной повесткой Церковь должна обслуживать строителей нового мирового порядка, освящать их проекты, будь то трансгуманизм, аборты, однополые браки, ювенальная юстиция, социал-дарвинизм и так далее. Церковь пытаются склонить к участию в этой программе как якобы прогрессивной и исто-

рически безальтернативной. Поскольку Церковь на это не идет — против нее ведут и будут вести информационную войну. И не только информационную, а также административную, законодательную и даже силовую.

— **Какими средствами?**

— Действуют как снаружи, так и изнутри. Вспомните печально известный «Религиозный кодекс» Михаила Прохорова, который пытался загнать Церковь в правовое гетто. Другое направление — лишить Церковь доступа в информационное и научное пространство. Этим активно занимается, например, Владимир Познер, объясняя публике, что, мол, православие — тормоз «прогресса». Познер весьма популярен в либерал-православных кругах. Но это — внешние антиклерикалы. Внутренние же пытаются подорвать легитимность Церкви с помощью политизированной теории «сергианства». Одновременно либерал-православные стремятся дезориентировать церковную общественность: под видом «реформирования» переключить ее внимание на ложные или третьестепенные цели и задачи, разрушая церковный организм изнутри. Например, в качестве интеллектуальной пиццы подбрасывается скучное и нелепое «майданное богословие»...

— **Внутренние и внешние противники Церкви действуют синхронно?**

— Это две части одной социально-политической группировки. Либерал-православие объединяет своих адептов независимо от их социального статуса и положения. Карьерные и экономические интересы у этих людей разные, работодатели разные, а идеология — общая. Есть те, кто находится по отношению к Церкви в прямой фронде: они сидят в социальных сетях и пишут полемические заметки. Другая составная часть либерал-православия входит в церковный и властный истеблишмент.

— **Они пересекаются с фрондой?**

— А это и не нужно. Их объединяет идеология — и это самое главное. Их действия в информационном и административном пространстве синхронизированы, входят в резонанс.

— **Дилемма: традиция или реформация, тем не менее, остается в силе?**

— Уже нет. Выбор сделан. Реформаторы-модернисты перечеркнули нормальную дискуссию и бьют сегодня на поражение. Они решили принести в жертву канонические правила, сломать тысячелетнюю традицию... Все — на слом, после нас хоть потоп. Главное — добиться абсолютной власти, управленческой, бюрократической. Российские либерал-православные поддержали этот новый раскол. В войне против РПЦ и

УПЦ, развязанной Константинополем, Киевом и американским Deep state, они открыто заняли позицию в стане врагов православия. Верующих, которые погибнут в случае религиозной войны на Украине, они тоже заранее принесли в жертву. Поддержав Фанар, они взяли на себя ответственность за последующие события. Тем самым они загнали себя в ценностную ловушку.

— **Что это означает?**

— Это означает, что из категории оппонентов и недоброжелателей они добровольно перешли в категорию предателей и раскольников.

— **Это было неизбежно?**

— Конечно. Константинополь создал ситуацию, в которой невозможна какая-то третья или неопределенная позиция. Позиций только две: за и против канонического православия. А Константинополь на протяжении уже ста лет является выразителем идей, которые отстаивают трансформацию православия в угоду секулярным глобалистским проектам.

— **Мы можем хотя бы примерно определить последствия происходящего?**

— События в мире развиваются не в пользу либерал-постмодернистов. Глобализация до-

стигла пределов и захлебнулась, ее финансовый механизм идет вразнос, шестеренки еще крутятся, но уже впустую. В результате либералы идут ва-банк, прибегают к силе. Так было с «майданом», когда вместо выборов прибегли к перевороту. В церковной сфере либерал-модернисты также пытаются совершить переворот, устроить «чрезвычайку». Они идут напролом. Спешат окончательно решить «русский вопрос» и вопрос русского православия. Для этого понадобился патриарх Варфоломей, ослепленный страстью возглавить Киевскую, а затем и Московскую кафедр.

— **Итак, каковы же основные критерии либерал-православия?**

— Основных критериев либерал-православия три. Первый критерий — создание симулякра ортодоксии: стремление стереть грань между оригиналом и подделкой, между формой и содержанием. Второй критерий — попытка создать «церковь» внутри Церкви, как бы «истинную Церковь». Третий критерий — создание всеми возможными способами постоянного вялотекущего раскола.

— **В 2012 году вы опубликовали статью «Церковь перед угрозой секулярной реформации». Вы предвидели сегодняшние события?**

— Если скажу, что предвидел, это будет лукавством. Когда я писал ту статью, проблема мне виделась преимущественно внутрirosсийской, а оказалось, что угроза нашей Церкви является угрозой православию в целом. Мы можем констатировать, что последствия будут очень серьезными. Ход церковной истории определится на десятилетия, если не на столетия вперед. Мы уже живем в новую эпоху, хотя, возможно, этого еще не заметили. В этой ситуации Русской Православной Церкви придется сыграть важную роль в защите веры, сказать свое слово. Нас к этому вынудили.

Новая искренность и «поколение дизайна»

О секулярной религиозности и «новой искренности», об истоках явления, связанного с этим понятием, и о социальных группах, потенциально подверженных влиянию мифологии «новой искренности». Эти группы можно отыскать как внутри Церкви, так и за ее пределами — в лице так называемого «поколения дизайна».

— Не так давно в светских и в церковных кругах вошло в обиход понятие «новая искренность». Вам интересно это явление?

— Я бы сказал иначе. Недавно был сделан информационный вброс этого понятия в сферу церковных СМИ. Но понятие это взято из внецерковной сферы, поэтому, думаю, оно в Церкви не приживется.

— Разве искренность — это плохо?

— Искренность — это прекрасно, но имитация ее убивает. Прежде всего: почему она новая? А куда делась старая?

— Наверное, имеется в виду, что публике наскучил релятивизм и она, будто капризная красотка, вновь ударилась в искренность...

— И требует: «Сделайте нам искренне!», как раньше говорили: «Сделайте нам красиво!». Думаю, между искренностью и «новой искренностью» разница примерно такая же, как между красотой и красивостью.

— Она преодолима?

— Не думаю. Это мне напоминает предложение героя «Собачьего сердца» делать из кошек белок на рабочий кредит. Это несерьезно. Есть намерение сформировать удобный для кого-то, многообещающий тренд, но искренность так не рождается. В публичной сфере искренность возникает тогда, когда люди захвачены какой-то общей драмой, а не в порядке развлечения. Поэтому искренность, как радость и любовь, не может быть новой или старой. Она или есть, или ее нет. Искренность нельзя отформатировать, объявить указом, нельзя подтвердить ее наличие социологическим опросом. Подобные попытки — это социальные и языковые игры, медиаманипуляции.

— Что-то вроде: я искренний человек — у меня есть заверенная нотариусом справка?

— Примерно так. Человек со справкой, которая подтверждает, что он искренен. Представьте себе, что вам объявят: «Пришло время новой любви, на новую любовь теперь запрос, она нынче в тренде».

— Звучит диковато.

— Вот так же и с искренностью. Но это объяснимо. Дело в том, что «новая искренность» сформирована в рамках либерального сознания, поэтому она представляет собой умозрительный конструкт. Применительно к Церкви у нее особая функция.

— Какая?

— Ее носители хотели бы секуляризировать Церковь не с богословской и не с идеологической стороны, а посредством массовой культуры. Чтобы их не дай Бог не сочли старомодными.

— И какой получается результат?

— Естественно, обратный ожидаемому. Когда кто-то активно бьет себя в грудь, доказывая городу и миру свою современность, это вызывает подозрения. Такой человек, скорее всего, вопиюще

несовременен и не уверен в себе. Поэтому он и хочет получить ту самую справку.

— **Так сказать, сертификат соответствия современным веяниям...**

— Действительно современному доказывать нечего и некому. Не знаю, понимают это «православные» секуляристы — адепты «новой искренности», — или не понимают. Но мне кажется, что их устраивает любой результат. Движение — все, конечная цель — ничто.

— **Откуда вообще взялось это понятие?**

— Понятие «новая искренность» родилось в западной философии культуры на стыке 1980—1990-х годов и является синонимом «метамодерна». Оно означает использование формы прямого высказывания — так сказать, умудренной наивности, взрослой детскости в постмодернистски освоенном виде. Из естественного стремления души человеческой искренность превращается в инструмент. В России понятие «новая искренность» давно использует литературная критика для характеристики таких явлений, как творчество поэта Андрея Родионова или писателя Евгения Гришковца.

— **Чем все же отличается искренность «новая» от старой?**

— Тем, что это не драма, не катарсис, а прием. Постмодерн осваивает психологическое содержание и девальвирует его, подчиняя игровому сознанию. А «игровое» в постмодернистской трактовке означает по сути — безответственное. Вокруг новой искренности строится жанр псевдоисповеди. И это вызывает ощущение фальши. Станиславский по этому поводу точно сказал бы свое знаменитое «не верю».

— **Как происходит превращение искренности в прием?**

— К примеру, в Фейсбуке существует общепринятый тон обращения к аудитории: выворачивание себя наизнанку. Говорится не то, что просится от сердца к сердцу, а что угодно и совершенно безадресно, напоказ. Цель такой формы общения — это не исповедь, а самопродвижение. Человек «продвигает» себя, чтобы набрать как можно больше лайков, комментаторов, френдов. «Новая искренность» — это тоже самопродвижение, маркетинговый ход.

— **Почему настоящая искренность в такой ситуации невозможна?**

— Потому что такого рода художественные стратегии имеют коммерческую природу, а подлинную искренность невозможно массово продать. Особенность «новой искренности» в том,

что «искреннее» высказывание адресовано не тем, кто в нем реально нуждается. Такая избирательность была бы просто нерентабельна. Оно адресуется и навязывается как можно более широкой аудитории. Ведь нужен охват, нужно формирование спроса.

— И это намерение никогда не имеет с подлинной искренностью ничего общего?

— Почти из любого правила есть исключения. Я знаю один случай, когда литератор, работающий в этом жанре, проявил искренность настоящую, человеческую. Это был Евгений Гришковец. Он совершил гражданский поступок, сказал то, что хотел сказать. Это произошло через несколько дней после Одесской Хатыни, после страшного дня 2 мая 2014 года, когда в одесском Доме профсоюзов нацисты сожгли и зарубили 300 человек инакомыслящих. Евгений наблюдал, как многие люди либеральных взглядов в России и на Украине радовались «сожжению колорадов», шутили насчет «курочек по-одесски». Невзирая на свое окружение, он вывесил в блоге обращение. Очень честное. Не помню точно текст, но смысл был примерно такой: господа, вы с ума сошли, я и подумать не мог, что услышу такое по поводу сожжения людей, о чем после этого с вами говорить... Это тот случай, когда искренность рождается вопреки

«новой искренности», прорастает сквозь нее. Но случай редчайший.

— Почему либерал-православие порождает такие явления?

— Такова форма отношений с миром у носителей этой идеологии. Это особый тип сознания, своего рода оккультный позитивизм. Религиоведы, занимающиеся постсекулярными исследованиями, называют такого рода убеждения заместительной или викарной религиозностью. Православная традиция становится у них формой секуляристского культа.

— Какого?

— Например, культа гуманизма — вопреки реальной тенденции к дегуманизации общества. Или культа социального прогресса.

— Разве социальный прогресс — это плохо?

— Это хорошо, если это реальный процесс, продвижение общества в сторону нравственности и человечности. Но не тогда, когда это мифология, изложенная на псевдонаучном кибер-жаргоне и освобождающая адепта от остатков критичности и лишних вопросов. Собственно говоря,

прогресс и культ прогресса — разные и, как правило, взаимоисключающие вещи. Последователи ортосекуляристской доктрины это различие игнорируют.

— Почему?

— Потому что их установка — «служить двум богам», выражать секулярное содержание с помощью религиозного языка, создавать амальгаму, перевертыш. Кроме абсурда из этого выйти ничего не может. Представьте, например, что вы описываете религиозным языком тренды из мира моды.

— Это вызвало бы несварение ума или что-то вроде этого.

— Можно и так сказать. Или иначе: когнитивный диссонанс, ощущение абсурда. Так же обстоит дело и с секулярным реформаторством в целом.

— А как вы охарактеризуете обратный случай — выражение религиозного мирским языком?

— Это нормально, так мыслят невоцерковленные верующие. В советское время в таком стиле работали писатели-деревенщики, что частично

объяснялось цензурой, но не только ею. Это совсем другая история.

— Вас часто обвиняют в неоправданной критике православного гламура. Мол, кто обрезаец благочестивости и аскезы, кто здесь у нас святой?

— Никто не святой. Но это подмена тезиса. Гламур не имеет прямого отношения к распущенности, а антигламурность — к аскезе. Вполне можно представить себе и гламурного «аскета», какого-нибудь фарисея, а можно — антигламурного распутника или обжору. Нет, дело не в этом.

— Но в чем?

— Гламур — это идеология, причем построенная как раз на подменах. «Престиж» вместо блага, земное «совершенство» — вместо любви. В этом смысле «новая искренность» представляет собой частный случай гламурного мировосприятия. Подмена термина совершается для того, чтобы поставить оппонента в безвыходное положение: он же не сможет назвать себя праведником, но если все не без греха, то вроде бы и говорить не о чем. Этот прием легко вскрыть. А тема настолько болезненная, что не говорить о ней невозможно.

— С каким социальным слоем связаны такого рода культурные подмены? Вы говорите о либерал-православной группе внутри Церкви, но, возможно, этот круг шире?

— Вот недавно в московских околоцерковных тусовках заговорили о «поколении дизайнера». Всегда было много конкурирующих определений некоей новой социальной общности. «Поколение нект», «поколение Y», «поколение Z», «поколение MTV», «поколение I-Phone». Они вырастали как грибы после дождя, им было тесно в узком временном и культурном контексте. И чем больше их появлялось, тем сильнее становилось ощущение их надуманности. «Поколение дизайнера» ничем не хуже и не лучше прежних.

— Каковы исторические рамки этого поколения?

— В данном случае понятие «поколение» не историческое, а мировоззренческое. И делит оно людей не по горизонтали, а по вертикали.

— А что означают сами выражения — «поколение дизайнера», «люди дизайнера»?

— Люди, для которых форма важнее содержания. Как пел когда-то один отечественный рок-динозавр: «Я раньше думал, что важно, в чем

суть, но я понял, что важнее мой вид». Я могу это понять только как похороны эпохи Книги, эпохи Гутенберга, стремление жить в условиях возвращенного пантеизма, в условиях глобальной визуализации, мира электронной наскальной живописи.

— Нет ли к тому социальных предпосылок? Вот, например, часто приходится слышать, что молодежи нужен новый язык богослужения, новый язык проповеди.

— Этим пусть занимаются религиозные философы, а для Церкви главное — хранить традицию. Ведь хорошо известно, что евангелические церкви Запада, пойдя на уступки секуляристской культуре, моментально потеряли прежнюю паству, а новую так и не приобрели. Это называется: сесть между двух стульев. Умный, как известно, учится на чужих ошибках, а не на своих — и мы не пойдем по этому пути.

— Не будет ли молодежь воспринимать Церковь как министерство нравственности?

— Образованная молодежь точно не будет. Если кто-то стремится именно так воспринимать Церковь, ему надо просто немного расширить кругозор. Церковь — не министерство нравственности и не полиция нравов. Церковь — это

школа сопричастности к делу Божьему, школа обожения и снискания благодати. Церковь мыслит в нравственной системе координат, но именно мыслит и совершает свое делание и попечение. Здесь важен процесс сближения с Христом и братьями во Христе посредством добрых дел и таинств. Помощь в совершении дел любви. И дай нам Бог успешно идти этой дорогой.

Либерлингва, или Чужая речь

Язык современной либеральной культуры исчерпал свои возможности и оторвался от реальных общественных процессов — точно так же, как на закате существования СССР оторвался от них язык советского официоза. Кризис либерального языка (либерлингвы) сопровождается нарастанием в нем искусственности и внутренних противоречий, а также усилением роли ограничений и табу, которые этот язык навязывает своим носителям по отношению к ряду аспектов социальной действительности. Условием освобождения от власти устаревшего либерального языка является тщательный анализ его идеологем, содержательных стратегий и выразительных средств.

— В своих публицистических проектах вы уделяете большое внимание теме языка. Почему?

— Язык реагирует на крупные политические сдвиги раньше, чем эти сдвиги происходят. Он

как бы их предвосхищает. И это происходит не впервые. Вспомните конец советской эпохи. Слова, когда-то наполненные революционным пафосом, романтикой общего дела, вдруг обтрепались, потускнели. Все эти «от каждого по потребностям, каждому по труду», «слава человеку труда», «наша цель — коммунизм» — стало вдруг канцелярщиной, мертвыми штампами. Эти слова невозможно стало произносить без иронии.

— А почему?

— Потому что они расходились с реальными делами. Не в словах была скрыта фальшь, а в делах. И вот все изменилось. Действительность стала пусть печальной, но нормой, а громкие фразы — притворством. Они превратились в карикатуру на что-то.

— Когда именно произошел этот поворот?

— Невозможно определить точно, наверное, в 1970-е. Но именно в этот момент в нашей стране перевернулись песочные часы истории. Люди перестали верить в то, что они сами говорят, верить собственным словам.

— Как можно назвать этот феномен?

— Это был кризис советского языка. Но ведь что такое язык? Это оболочка мифа. Пока власть

мифа сильна, мы мифа не замечаем, как мы не видим своего дома снаружи, когда сидим внутри. Для нас это естественная картина жизни.

— Но ведь наука дает правдивую, проверенную картину реальности? Можно сравнить.

— Сравнить можно только части реальности, да и то с оговорками. Наука не может вычислить критерии общественного блага, свести этот вопрос к уравнению. Область массовых представлений — это всегда предмет веры, в каких бы формах вера ни выступала: религиозных, квазирелигиозных, дорелигиозных, магических.

— Как говорил кто-то из советских генсеков — кажется, Андропов, — «мы не знаем общества, в котором живем»...

— И не только общества. Потому что культура мифогенна, основана на мифах и генерирует их. Это свойство культуры позволяет людям ощущать смысл жизни, иметь в «активе» нечто несомненное, очевидное и само собой понятное. А выражается все это в языке. Именно поэтому Мартин Хайдеггер говорил: «Язык — это дом бытия».

— Что из этого следует?

— Например, то, что язык регулирует общественную жизнь, определяет наше поведение, наши мнения, нашу коммуникацию. Язык — носитель «истин» о мире, и он же — социальный институт, подобный юриспруденции или силовым структурам.

— И что случилось в позднем СССР? Этот социальный институт сломался?

— Именно. Сломался язык советского социума. Он утратил способность производить правдоподобную модель реальности. В нем возникли трещины, противоречия, он утратил связность и единство. Система посыпалась. Примерно так, как картонный домик рассыпается, только медленнее.

— В искусстве это заметили деятели соц-арта.

— Соц-арт постоянно обыгрывал языковые клише советской эпохи, весь московский концептуализм, Игорь Иртеньев, Дмитрий Пригов, в живописи — Илья Кабаков с его коммунальной эстетикой и толпы их эпигонов... Эти люди эстетически усиливали и подчеркивали элементы языка советской культуры. А с какого-то момента неадекватность советского языка стала видна невооруженному взгляду, абсолютно всем. Уже

ничего не нужно было подчеркивать, и необходимость в соц-арте отпала сама собой.

— Что было после того, как советский язык рассыпался?

— Произошел серьезный сбой в российском культурогенезе. На месте советского языка должны были появиться и заработать другие, более глубинные языковые механизмы русской культуры. Вместо этого мы получили в употребление некий языковой эрзац (симулякр, как говорят сейчас), который отражал содержание не национального, а глобалистского культурного пространства. Это была довольно болезненная подмена. Потому что вместо преодоления последствий большевистского культурного эксперимента, — а это преодоление частично было возможно даже в рамках позднесоветской культуры — мы получили повтор революционной ситуации. История сделала петлю. С точки зрения культурно-языковой динамики 1991 год — это повтор 1917 года.

— И сегодня мы живем в искусственной культурно-языковой реальности?

— Увы, это так. В 1990-е эта реальность была накачена идеями исторического самобичевания, культом коллективной вины, сформированным

постсоветским либеральным агитпропом. Народ, ставший жертвой репрессий в советское время, объявили исторически недоразвитым, неполноценным. Мы долго не понимали ложной природы этого взгляда, поскольку находились внутри, а не снаружи либерального мифа. Хотя интуитивно ощущали его могильный холод и пустоту. Положение осложнялось его глобалистским характером: выглядывая из «окошка» в мир, мы видели пусть и не во всем совпадающую, но похожую картинку, слышали частично знакомую риторику.

— **До какого момента все это продолжалось?**

— Примерно до 2008 года. Около десятилетия назад появились признаки усталости и износа либеральной идеологии. Они наложились на процессы мирового экономического кризиса, за которым последовал кризис культурных и политических институтов. Ну, а в последние годы энтропия набрала высокую и вполне отчетливую динамику. Сегодня происходит то же, что и в конце советской эпохи: культурно-языковая парадигма разрушается. Правда, элиты не хотят этого признавать, признавать объективную историческую реальность. Тем самым они увеличивают вероятность новой кровавой смуты.

— **Постсоветская эпоха принесла с собой язык нового официоза?**

— Конечно. Я его называю «либерлингва». Это не язык общения, а безликий инструмент коммуникации. Этот механистический, мертвый язык вытесняет настоящий, живой язык национального общения, язык гражданского общества. И ведь что интересно. Те же самые люди, которые этому способствуют, сокрушаются: мол, гражданское общество в России «незрелое» или «не сложилось». И сами же навязывают обществу заданные формы поведения, исключая свободный выбор. Например, на выборах борьба идей подменяется борьбой компроматов.

— **Демократия профанируется?**

— Безусловно. Дискурсивная среда, создаваемая либеральным языком, создает своеобразную «прошивку» мира современного человека. Поэтому не только говорить, но и вести себя нелиберально — для многих непростая задача.

— **Это требует определенных жертв?**

— Конечно. Репрессивный институт рукопожатности не зря существует. Поэтому человек достаточно конформный не станет говорить в либеральном кругу, скажем, о том, как США и

Канада укрывали нацистских преступников, о применении зарядов с обедненным ураном при обстрелах Белграда, о неудачной попытке либерального переворота в Турции в 2016 году, о конструировании концепта автономной личности, об «эго-машинах» и тому подобных вещах. Это «не принято», в эту сторону «думать не надо». Так работает механизм дисциплинарной власти в условиях либерализма. Но и это, возможно, не самое плохое.

— **Что может быть хуже?**

— Хуже всего то, что накатанные схемы либерального дискурса не дают обществу в целом даже как следует поставить актуальные вопросы своего существования, не то что их решать. Это относится, например, к проблематике «тоталитарного опыта человечества», «режимов XX века» и т. п. Мы живем в такой период, когда идея антитоталитаризма утрачивает объективные общественные основания и сама становится тоталитарной. Как говорится, настанет такая защита прав, что нельзя будет и вздохнуть без разрешения.

— **Можно показать это на примере?**

— Вспомним о деятельности Светланы Алексиевич — уроженки Западной Украины и белорусской писательницы, пишущей на русском языке. Вот она, говоря о неправосудных

процессах советского времени, утверждает, что историческая невовлеченность человека морально преступна, а «жертвы так же противны, как и палачи». Следующий шаг — перенос обвинения на весь народ. После этого народ можно, используя навязанное ему чувство коллективной вины, идеологически обрабатывать. Если не винишь себя и других за «холопство», «потомственное рабство» — ты сталинист, совок.

— **Идейный перевертыш?**

— Это, если говорить более академично, феномен обращенной тоталитарности. Обращенная тоталитарность провозглашает свободу в негативной форме и делает это ради нового закабаления. Поэтому в составе либерлингвы много словосочетаний-оксюморонов. Таких как «гуманитарные бомбардировки», «позитивная дискриминация», «принуждение к миру». С их помощью дискурс свободы огрубляется и присваивается, становясь главным оружием тирании.

— **Что же происходит в итоге?**

— Происходит резкая дегуманизация общества. Тот самый тоталитаризм. И связано это не только с идеологией и политикой. В условиях информационного общества важно не только, что человек думает, но и *как* он думает, каким «способом». Современный либерализм — это куль-

турный стандарт со своими концепциями субъектности и религиозности. Соответствующие им аксиомы человек принимает в детстве, когда еще не может развить в себе критичность. Принимает вместе с языком.

— **Это индоктринация?**

— Совершенно верно. Современный неолиберализм создает более изощренную форму тоталитарности, чем «старый режим» — например, советский — с его монолитной и легко просчитываемой в своем развитии идеологией. Этот феномен требует не только внимания социологов и политологов, как было в 1960-е, во времена «франкфуртской школы». Сегодня его необходимо изучать средствами культурной антропологии и методами лингвистического анализа. Изучения либерлингвы как квазиязыка — это очень интересная задача. Кстати, в XX веке многие пытались сочинять искусственные языки и в шутку и всерьез...

— **Какие, например?**

— Футуристический «заумный язык» Велимира Хлебникова, padsat Энтони Берджесса, эмпирейский и яки Василия Аксенова, Джордж Оруэлл создал тоталитарный язык «ангсоц». Но все это литературно-игровые опыты. Существовали и серьезные проекты, не воплотившиеся в реаль-

ности. Прежде всего эсперанто, который мог заменить английский в качестве международного языка. Но гегемония либерализма породила совершенно другой искусственный язык, который был приведен в действие и стал глобальным. Явление либерлингвы чем дальше, тем больше становится языком «цифрового общества». В либерлингве фактически материализовалась фантазия Джорджа Оруэлла по поводу ангсоца — тоталитарного языка, но только не на социалистической, а на капиталистической почве.

— **Анализ либерального языка сегодня ведется?**

— Это направление возникло сравнительно недавно, но уже успешно развивается. Например, в Русской экспертной школе (РЭШ), в рамках постсекулярных и культурологических исследований. Неосвоенного культурно-лингвистического материала для таких исследований много.

— **Каковы же корни либерального языка — либерлингвы — с точки зрения его исследователей?**

— Образ мира и человека, встроенный в этот язык, имеет несколько источников. Во-первых, позитивизм — вера в возможность рационального объяснения вещей как бы «из них самих». Эта вера формирует человека-технократа, чело-

века-машину. Во-вторых, кальвинизм — идея избранности и превосходства, оправдывающая социальное неравенство. В-третьих, мальтузианство — уверенность в пользе естественного отбора и ненужности «лишних» людей. Наконец, гностицизм, то есть убежденность в тайном знании узкого круга — жрецов, экспертов, технократов. Из этого комплекса идей вытекает право на насилие, которое получает метафизическое объяснение. Люди с тайным знанием считают себя «орудием бога», их миссия — пасти и просвещать дикарей. Французский философ Рене Жирар называет этот феномен «сакральным насилием». Исторически сакральное насилие выливалось в расизм, колонизацию народов и в так называемый «конфликт цивилизаций».

— Как этот принцип работает?

— В России это институт рукопожатничества и термины «ватник», «совок». В США оппонентов в аналогичных ситуациях записывают в «депюранты». Современные сегрегационные практики сформированы на основе диссидентского сознания. Бывшее диссидентское меньшинство стало позиционировать себя как большинство, узурпировало право формировать публичное мнение. Обоснованием узурпации стала борьба с «наследием тоталитаризма». Причем статус героев-тираноборцев эти люди присваивают себе сами.

В итоге мы имеем господство либерально-западной интеллигенции и «креативного класса», которые выполняют в России роль наместников западных элит.

— Каковы корни социальной сегрегации?

— На уровне глубинных культурных архетипов сегрегация (рукопожатность) — это страх нечистоты и осквернения, магическое отгораживание, изгнание из племени. «Суд» заменяется в этом случае проклятием. Все эти практики свидетельствуют об архаизации и структурном упрощении культурно-языковых моделей, о «новой дикости» позднего либерализма. Магическое отгораживание проявляется также в способах исключения из дискурса оппонентов и их мнений.

— Например?

— Например: «А еще у них негров линчуют». Или: «Это конспирология». И то и другое — сигналы разрыва дискурса. Смысл разрыва в том, чтобы подчеркнуть: сама тема «нерукопожатна», она находится вне обсуждения, это табу. И потому не требуется ответа по существу и уважения к собеседнику. Табуируются и само высказывание, и его автор. Язык либерализма — это орудие дисциплинарного типа власти, если использовать классификацию Мишеля Фуко. Поэтому он ча-

сто включает стоп-сигналы, рассекая пространство коммуникации, разделяя общество на «своих» и «чужих» (читай: всех остальных), которыми можно и должно манипулировать. В России носители либерального языка нередко сами себя характеризуют как «приличные люди» — это манифестация социального разделения.

— Что, кажется, противоречит принципам реальной демократии.

— Это и неудивительно. Демократия и либерализм не имеют между собой ничего общего. Вообще либеральный дискурс имплицитно содержит в себе расистскую матрицу, модель разделенного мира, состоящего из «цивилизованной» и «нецивилизованной» частей, которые связаны отношениями подчинения. Эта модель исторически характерна для колониализма. В процессе коммуникации эта матрица постоянно воспроизводится. Например, в форме ритуального морализаторства.

— Что вы имеете в виду?

— Как известно, важнейшим для либерального языка является понятие «стыда». Но не в традиционном смысле. Традиционный стыд — следствие греха, ошибки. В либеральном языке и либеральной культуре «стыд» — форма обличения других. Либералу всегда стыдно не за своих,

а за чужих: «за эту страну», «за сегодняшнюю Америку», «за моих оппонентов».

— Что такое стыд в их понимании?

— Это обвинение в осквернении публичного пространства, которое они считают своим. На выходе получается: я стыжусь за тех, кому должно быть стыдно. Это ритуальный стыд. Иной стыд в либеральной картине мира просто невозможен — ведь это значило бы «сам бросить святыню». Нельзя, невозможно быть виноватым перед «нечистыми». А «стыд» — форма ниспровержения ценностей этих нечестивцев: социальной справедливости, патриотизма, реальной демократии. Для обозначения всего этого либеральный язык использует набор ярлыков, таких как «популизм», «имперская ностальгия», «тоталитаризм», «ксенофобия», «патриотический угар». Мы подробно говорили об этом в главе «Стыдливая интеллигенция».

— С ярлыками понятно. А что использует либеральный язык в качестве собственных «скреп», как сейчас модно говорить?

— Либеральные скрепы, или кодовые понятия либеральной идентичности — это, например, «выйти на площадь», «сервильность», «кровавый режим», «какой позор», «ганьба», «злочинна влада». Либеральный стыд, кстати, тоже имеет ко-

довую функцию. Это такой пароль. «Своих» опознают как раз по специфическому чувству стыда. Остальным предлагается либо примкнуть, либо вычеркнуть себя из «активной части общества, которая делает свой выбор». То есть из рядов социального меньшинства, которое требует привилегий за счет большинства.

— **Мифологизм либерального языка сегодня нарастает?**

— Да, его ритуально-мифологические корни обнажаются. Они все ближе к внешней, формальной стороне высказываний. А первородная рациональность, дарованная либерализму Просвещением, утрачивается. Поэтому в ключевых фразах либерал-дискурса так много противоречий и алогизмов. Например: «плюрализм мнений» и «общечеловеческие ценности» одновременно. С точки зрения логики эти понятия несовместимы. Или вот типичный диалог: «Давно пора жить и принимать решения как в цивилизованных странах. И прекратить позорную войну в Сирии. — Но США тоже воюют в Сирии, а они вполне цивилизованные. — США меня не волнуют, это не моя страна». Еще пример. На одной демонстрации в Нью-Йорке шли феминистки с плакатами, и плакаты эти призывали одновременно к женскому равноправию и к разрешению мусульманским женщинам публично носить хиджаб. Таких примеров много, и они свидетель-

ствуют о нарастании мифологизма в мышлении. Поскольку миф, как известно, разрешает противоречия без помощи логики.

— **Это говорит об интеллектуальной деградации?**

— Скорее о сознательной установке диспетчеров либеральной идеологии на архаизацию современной культуры. Но они не могут прямо об этом объявить.

— **Почему не могут?**

— Потому что тогда непонятно, зачем нужна была вся эта затея с Просвещением, весь этот проект рационализации общества и культуры, если теперь от этого проекта его же адептам приходится целенаправленно отказываться. А ведь сколько кровавых жертв было принесено на алтарь Разума. И все впустую... Поэтому иррациональность позднего либерализма упаковывается в наукообразную манеру изложения. Отсюда такие вещи, как концепция цифровой реальности — иррационализм в «рациональной» упаковке.

— **Как она формируется?**

— В нормальной ситуации научный дискурс обслуживает нужды исследований, направлен на анализ предметной сферы, эмпирики. Он не

может быть виртуализирован: иначе он анализирует «воздух». Другое дело — создание манипулятивной методики. Она создается средствами либерального языка, в котором научный анализ подменяется статистикой, а терминология превращается в систему метафор, как в сайентологии и тому подобных учениях.

— **Рассмотрим на каком-нибудь примере.**

— Возьмем что-нибудь простое — например, слово «технократ». Оно обладает в либеральном дискурсе сакральным смыслом. Для него не предусмотрена равнозначная пара, никто не говорит о «пневмократах» или «сенсократах». Есть только «технократы» и остальные — не-технократы. Вместо культурной оппозиции мы имеем здесь привилегированное означающее, как сказал бы Жак Деррида. Отправную точку культурной гегемонии. Вот типичные высказывания: «В правительство пришли технократы» или «Пришли молодые технократы». Определение «молодой» смело можно опускать, оно подразумевается независимо от фактического возраста, поскольку абсолютно немислимо выражение «старый технократ».

— **Его действительно невозможно представить. В чем причина?**

— В том, что это табу. Языковое табу. Его нарушение привело бы к разрыву языкового

шаблона. На более глубоком уровне семантики мы имеем здесь мотив вечной молодости, божественности: технократы не стареют. Когда-то что-то подобное рождалось в пространстве советского языка: «Комсомол не просто возраст, комсомол — моя судьба!»; «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» и т. п. Или вот либеральная эсхатология...

— **В чем заключается эта эсхатология?**

— Это апокалиптическое ощущение конца знакомого мира, обрушения привычного миропорядка. В 1990-е советская профессура воспринимала смену эпох в апокалиптических тонах: основы рухнули, как теперь жить и работать?! Сегодня с либерализмом сложилась та же самая ситуация. Догматики либерализма мыслят точно так же: мир без глобального лидерства невозможен, он рухнет, случится некий «ватный» апокалипсис. Тем не менее классические либеральные идеи уже не работают. И происходит отказ либерализма от своих же принципов. Например, от демократии — во имя сохранения культурной гегемонии.

— **Общество это чувствует?**

— Чувствует — и отчуждение нарастает. Человек начинает выстраивать психологическую дистанцию по отношению к либеральной культуре.

Эта дистанция заполняется новым содержанием. В России такое содержание появилось в 2014 году, когда на фоне крымских событий стало ясно, что либеральный дискурс разрушает национальную идентичность.

— **А как обстоит дело на Западе?**

— На Западе в независимых интеллектуальных кругах сегодня возник «дискурс подозрения» по отношению к либеральной мысли. Общество осознало ответственность либерализма за экспансию, за милитаризм, за двойные стандарты и разрушение правовых институтов, за войну с традицией, семьей, нравственными ценностями, социальными гарантиями. Отсюда подъем консервативной демократии и традиционализма, на который носители либерального языка привычно вешают ярлык «популизма». Массы уже не доверяют финансистам и брюссельской бюрократии и стремятся как можно меньше пользоваться их языком. Точно так же в СССР многие испытывали желание перестать использовать лексику коммунистического новояза и партийного официоза. Я знал людей, которые в 1970-е годы даже перешли на дореволюционную орфографию, настолько невыносим им был язык советского партийного истеблишмента. Либеральный язык сегодня начинает восприниматься как нечто неестественное, а скоро будет восприниматься просто как чужая речь.

— **Что значит «чужая»?**

— Внешняя, принудительная. И неспособная адекватно отражать социальную реальность. Постепенно либеральный язык превращается в объект общественных рефлексий. Пересечение этой границы дает нам возможность выйти из языкового плена и изучать язык неолиберальной глобализации на пороге ее краха.

— **К каким выводам, изучая его, вы уже пришли?**

— Либерализмом сформирован современный метадискурс. Его тотальность намного превосходит тотальность советского классового подхода, который легко вычленялся из общественных нарративов. По всей видимости, суд над либеральной «этикой» должен стать закономерным продолжением коллапса либерализма — хотя бы потому, что сама либеральная мысль в свое время настойчиво отстаивала проект суда над коммунизмом, создав тем самым соответствующий исторический прецедент. Но всему этому неизбежно предшествует кропотливая работа с языком. Задача наших интеллектуалов — наметить ее основные направления.

— **Индивидуальное освобождение от власти либерального языка — это сложная задача?**

— Для кого как. Например, философ или политехнолог ежедневно заняты отстранением от языковой среды, это их работа. И для них удержание речевой дистанции — условие профессионализма.

— А если это обычный человек — учитель, служащий, фермер, рабочий?

— Он находится в более слабой позиции. Для ориентации в пространстве либерального дискурса он вынужден принимать предложенные правила игры, а не анализировать природу этих правил. Этот человек зависит от догм, стереотипов и шаблонов. Выпадение из этих рамок угрожает ему кризисом самоидентичности, снижением адаптивных возможностей в социуме.

— А если он это осознает и его это не устраивает?

— Значит, он творчески подходит к повседневности. Или, если хотите, креативно — в буквальном, не терминологическом смысле, поскольку не имеет ничего общего с так называемым креативным классом.

— Вот так категорично?

— Дело в том, что «креативный класс» как раз является главным бенефициаром, выгодо-

получателем либерального языка. Он зарабатывает с его помощью свой символический капитал.

— И человек действительно творческий в силах преодолеть это неравенство?

— Вполне. Если ему интересно, если он хочет научиться держать языковую дистанцию так же хорошо, как философ или политехнолог, он может этому научиться.

— Выделиться из «серой толпы»?

— Фигура речи, которую вы сейчас использовали — «серая толпа», — тоже принадлежность либерального языка. Нет, не выделиться, не самоутвердиться за счет другого, но помочь в этом другим, освободить их, возвысить ближних. В случае удачи мы получаем ни с чем не сравнимую внутреннюю свободу. Свободу ориентации в культуре. И делаем интересные наблюдения об окружающей нас жизни вместо использования готовых представлений.

— Освободиться от власти либерального языка — значит установить дистанцию по отношению к нему?

— В том числе. Для этого надо понимать и чувствовать словесный мусор либерлингвы, как

например: «эффективная оптимизация коммуникативных моделей креативного сознания в сложном, меняющемся мире». Свободно понимая эти речевые клише, мы начинаем воспринимать их как внешнюю среду, освобождаемся от зависимости. Либеральные нарративы, лексика, идиоматика, синтаксис... К этому нужно относиться как к некому иностранному языку. Тогда либерлингва, тогда эта чужая речь утратит свои суггестивные возможности. Левиафан станет игрушечным, бумажным, смешным, потеряет силу.

— Как вы думаете, кто сможет кардинально изменить культурно-языковую ситуацию на уровне всего общества?

— Мы с вами. Мы должны сказать либеральному фараону: «Отпусти мой народ». Как только это требование станет массовым и превратится в четкую формулу, мир изменится. Станут видны подлинные причины и следствия социальных процессов. Произойдет так называемое «расколдовывание мира». Для этого нужны проницательность, тяга к анализу и независимость взгляда, способность смотреть в лицо реальности, а не бежать от нее. А также все, что отличает человека от животного.

— А именно?

— Не адаптивность и приспособляемость к обстоятельствам. Не собственное «я», за которое идеологи любого толка могут выдать все, что угодно. Но соответствие высшим ценностям, тяга к высшим началам. В идеале — к Богу.

Об авторе

Александр Владимирович Щипков — политический философ, общественный деятель, доктор политических наук, кандидат философских наук, профессор философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, действительный государственный советник РФ 3 класса, один из ведущих российских специалистов по религиозно-политической ситуации в стране и мире.

Монографии:

- Во что верит Россия. СПб., 1998
- Христианская демократия в России. М., 2004
- Традиционализм, либерализм и неонацизм в пространстве актуальной политики. СПб., 2014
- Национальная история как общественный договор: от экономического гегемонизма к консенсусу традиций. СПб., 2015
- Социал-традиция. М., 2017
- Вопросы идеологии. М., 2018

Публицистика:

- Соборный двор. М., 2003
- Территория Церкви. М., 2012
- Религиозное измерение журналистики. М., 2014
- Бронзовый век России. Взгляд из Тарусы. СПб., 2015
- До и после политики. М., 2016

Содержание

<i>Предисловие. Ю. Поляков</i>	5
Большое гражданское общество.....	9
Ложь «догоняющего развития»	25
Будущее секуляризма	41
Плаха — геноцид русских в XX веке	60
Нацизм и колониализм в парадигме модерна	80
Церковь, государство, идеология	100
Русская культура и «застой»	114
Стыдливая интеллигенция	127
Ирония и христианство	139
Гламур и диктатура богемы.....	152
Либерал-православие.....	172
Новая искренность и «поколение дизайнера»	183
Либерлингва, или Чужая речь	195
<i>Об авторе</i>	220

Научно-популярное издание

Щипков Александр Владимирович

ПРЯМОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ

Ответственная за выпуск А. Ю. Голосовская
Макет и компьютерная верстка Е. Э. Алексеевой
Оформление Ю. А. Меньшиковой
Корректор М. Д. Надёжина

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции
ОК 005-93-953000

Подписано в печать 00.01.2019 г.
Бумага офсетная. Гарнитура «BodoniС».
Формат 84x108/32.
Тираж 500 экз. Заказ №

По вопросам приобретения продукции просим обращаться по следующим адресам:

**Интернет-магазин
«АБРИС»**
www.tdabris.ru
8 (495) 981-10-39;
8 (926) 611-98-46
zakaz@tdabris.ru
Доставка по России
курьерскими службами,
транспортными компаниями
и Почтой России

г. Москва и регионы РФ
ООО «Торговый дом «Абрис»
г. Москва, ул. Краснопроектарская, д. 16, стр. 1
По вопросам оптового приобретения продукции:
8 (495) 229-67-59
(многоканальный)

г. Санкт-Петербург
ООО «Абрис СПб»
По вопросам розничного приобретения продукции:
Книжная ярмарка
ДК им. Крупской,
пр. Обуховской Обороны,
д. 105, павильон № 43
(ст. м. «Елизаровская»)
8 (812) 335-01-61
По вопросам оптового приобретения продукции:
Железнодорожный пр., д. 20
(ст. м. «Ломоносовская»)
8 (812) 612-11-03;
8 (812) 327-04-50 (51)
info@prosv-spb.ru

г. Грозный
ООО «Центр образования
«Абрис»
По вопросам розничного и оптового приобретения продукции:
ул. Индустриальная, д. 4
8 (929) 246-98-26;
8 (929) 247-05-62
abris95@textbook.ru

г. Калуга
ООО «Школьный МИР»
По вопросам розничного и оптового приобретения продукции:
ул. Достоевского, д. 29,
помещение 66
Тел./факс:
8 (4842) 57-58-51;
8 (910) 866-51-81
ooomir40@yandex.ru

г. Киров
ООО «Абрис Вятка»
По вопросам розничного и оптового приобретения продукции:
ул. Комсомольская, д. 63
8 (8332) 699-668;
8 (8332) 705-805
AbrisVTK@textbook.ru

г. Симферополь
ООО «Торговый дом «Абрис»
По вопросам розничного приобретения продукции:

Магазин «Школьный мир»,
ул. Ленина, д. 27
8 (978) 092-85-17
По вопросам оптового приобретения продукции:
ул. Крылова, д. 172
8 (3652) 78-83-65;
8 (978) 091-05-91
znanie@textbook.ru

г. Тула
ООО «Абрис-Тула»
По вопросам розничного и оптового приобретения продукции:
ул. Советская, д. 59, этаж 2,
офис 205
8 (920) 777-89-80
Abris71@textbook.ru

г. Уфа
ООО «Абрис-Уфа»
По вопросам розничного и оптового приобретения продукции:
Проспект Октября, д. 97/1,
помещение 1
8 (347) 246-46-11;
8 (347) 246-38-01
AbrisUfa@textbook.ru

г. Челябинск
ООО «Абрис-Челябинск»
ул. Худякова д. 18, корпус 2,
оф. 428-430
8 (351) 271-97-07;
8 (982) 287-39-96
abris74@textbook.ru

ООО «Торговый дом «Абрис»

127473, г. Москва, ул. Краснопроектарская, д. 16, стр. 3, эт. 2, пом. I, ком. 8

Отпечатано в филиале «Тверской полиграфический комбинат
детской литературы» ОАО «Издательство «Высшая школа»
170040, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, д. 46
Тел.: +7 (4822) 44-85-98. Факс: +7 (4822) 44-61-51

